





Иван ТУРГЕНЕВ



ПОЛНОЕ СОБРАНИЕ РОМАНОВ В ОДНОМ ТОМЕ



Издательство
АЛЬФА-КНИГА
Москва
2017

УДК 821.161.1
ББК 84(2Рос-Рус)1-я5
Т87

Серия основана
в 2007 году

Тургенев И. С.

Т87 Полное собрание романов в одном томе. — М.: «Издательство АЛЬФА-КНИГА», 2017. — 827 с.: ил. — (Полное собрание в одном томе).

ISBN 978-5-9922-2548-8

В одном томе собраны все романы одного из выдающихся писателей XIX века, классика русской литературы Ивана Сергеевича Тургенева (1818—1883) — «Рудин», «Дворянское гнездо», «Накануне», «Отцы и дети», «Дым», «Новь».

УДК 821.161.1
ББК 84(2Рос-Рус)1-я5

ISBN 978-5-9922-2548-8

© Художественное оформление,
«Издательство АЛЬФА-КНИГА», 2017

ПРЕДИСЛОВИЕ К РОМАНАМ

Решившись в предстоящем издании поместить все написанные мною романы («Рудин», «Дворянское гнездо», «Накануне», «Отцы и дети», «Дым» и «Новь») в последовательном порядке, считаю нелишним объяснить, в немногих словах, почему я это сделал. Мне хотелось дать тем из моих читателей, которые возьмут на себя труд прочесть эти шесть романов сподряд, возможность наглядно убедиться, насколько справедливы критики, упрекавшие меня в изменении однажды принятого направления, в отступничестве и т. п. Мне, напротив, кажется, что меня скорее можно упрекнуть в излишнем постоянстве и как бы прямолинейности направления. Автор «Рудина», написанного в 1855-м году, и автор «Нови», написанной в 1876-м, является одним и тем же человеком. В течение всего этого времени я стремился, насколько хватало сил и умения, добросовестно и беспристрастно изобразить и воплотить в надлежащие типы и то, что Шекспир называет: «the body and pressure of time»¹, и ту быстро изменяющуюся физиономию русских людей культурного слоя, который преимущественно служил предметом моих наблюдений. Насколько это мне удалось — не мне судить: но смею думать, что читатели не усомнятся теперь в искренности и однородности моих стремлений.

Позволю себе прибавить несколько кратких замечаний о каждом из этих шести романов — замечаний, не лишенных, быть может, некоторого интереса.

«Рудин», написанный мною в деревне, в самый разгар Крымской кампании, имел успех чисто литературный не столько в самой редакции «Современника», где он был помещен, сколько вне ее. Помнится, покойный Некрасов, выслушав мое чтение, сказал мне: «Ты затеял что-то новое; но между нами, по секрету, скучен твой «Рудин»». Правда, несколько недель спустя тот же Некрасов, говоря со мною о только что написанной им поэме «Саша», заметил, что «ты, мол, увидишь, я в ней до некоторой степени подражаю твоему «Рудину» — но ведь ты не рассердишься». Помню также, что меня очень изумило письмо Сеньковского (барона Брамбеуса), которого я чуждался, как

¹ «самый образ и давление времени» (англ.).

вся тогдашняя молодая школа, и который отнесся к «Рудину» с великим сочувствием.

«Дворянское гнездо» имело самый большой успех, который когда-либо выпал мне на долю. Со времени появления этого романа я стал считаться в числе писателей, заслуживающих внимание публики.

Гораздо меньший успех имело «Накануне», хотя ни один из моих романов не вызвал столько статей в журналах. (Самую выдающуюся была, конечно, статья Добролюбова.) Покойный Н. Ф. Павлов сильно раскритиковал меня, а другому, ныне также покойному критику, некоему Дарагану дали даже обед по подписке в благодарность за весьма строгую статью о «Накануне», в которой он особенно настаивал на безнравственности главных действующих лиц. Появилось несколько эпиграмм; одна острота особенно часто повторялась: мое произведение потому-де названо «Накануне», что оно вышло накануне хорошего романа.

Прошу позволения у читателей рассказать — именно по поводу этого «Накануне» — небольшой эпизод из моей литературной жизни.

Почти весь 55-й год (так же как предшествовавшие три года) я безвыездно провел в своей деревне, во Мценском уезде Орловской губернии. Из числа моих соседей самым мне близким человеком был некто Василий Каратеев, молодой помещик двадцати пяти лет. Каратеев был романтик, энтузиаст, большой любитель литературы и музыки, одаренный притом своеобразным юмором, влюбчивый, впечатлительный и прямой. Он воспитывался в Московском университете и жил в деревне у своего отца, на которого каждые три года находила хандра вроде сумасшествия. У Каратеева была сестра — очень замечательное существо, — которая тоже кончила сумасшествием. Все эти лица давно уже умерли; оттого я так свободно говорю о них. Каратеев заставлял себя заниматься хозяйством, в котором ровно ничего не смыслил, и особенно любил чтение да разговоры с людьми ему симпатичными. Таких людей оказывалось немного. Соседям он не нравился за вольнодумство и насмешливый язык; к тому ж они боялись знакомить его с своими дочерьми и женами, так как за ним упрочилась репутация — в сущности вовсе им не заслуженная, — репутация опасного волокиты. Ко мне он ездил часто — и его посещения доставляли мне почти единственное развлечение и удовольствие в тогдашнюю, для меня не слишком веселую, пору.

Когда настала Крымская война и произошел рекрутский набор на дворянство, названный ополчением, не жаловавшие Каратеева дворяне нашего уезда согласились, как говорится, упечь его — и выбрали его в офицеры этого самого ополчения. Узнав о своем назначении, Каратеев приехал ко мне. Меня тотчас поразило его расстроенный и встревоженный вид. Первым его словом было: «Я оттуда не вернусь; я этого не вынесу; я умру там». Здоровьем он похвалиться не мог; грудь у него постоянно болела, и сложения он был слабого. Хотя я сам боял-

ся за него всех трудностей похода, однако я постарался рассеять его мрачные предчувствия и начал уверять его, что не пройдет и года — и мы снова сойдемся в нашем захолустье, будем опять видеться, толковать и спорить по-прежнему. Но он упорно настаивал на своем — и после довольно продолжительной прогулки в моем саду вдруг обратился ко мне с следующими словами: «У меня есть до вас просьба. Вы знаете, что я провел несколько лет в Москве, — но вы не знаете, что со мной произошла там история, которая возбудила во мне желание рассказать ее — и самому себе и другим. Я попытался это сделать; но я должен был убедиться, что у меня нет никакого литературного таланта, и всё дело разрешилось тем, что я написал эту тетрадку, которую я передаю в ваши руки». Сказавши это, он вынул из кармана небольшую тетрадку, страниц в пятнадцать. «Так как я уверен, — продолжал он, — несмотря на все ваши дружеские утешения, что я не вернусь из Крыма, то будьте так добры, возьмите эти наброски и сделайте из них что-нибудь, чтоб бы не пропало бесследно, как пропаду я!» Я стал было отказываться, но, видя, что мой отказ его огорчает, дал ему слово исполнить его волю и в тот же вечер, по отъезде Каратеева, пробежал оставленную им тетрадку. В ней беглыми штрихами было намечено то, что составило потом содержание «Накануне». Рассказ, впрочем, не был доведен до конца и обрывался круто. Каратеев, во время своего пребывания в Москве, влюбился в одну девушку, которая отвечала ему взаимностью; но, познакомившись с болгаринном Катрановым (лицом, как я узнал впоследствии, некогда весьма известным и до сих пор не забытым на своей родине), полюбила его и уехала с ним в Болгарию, где он вскоре умер. История этой любви была передана искренне — хотя неумело. Каратеев действительно не был рожден литератором. Однако только сцена, именно поездка в Царицыно, была набросана довольно живо — и я в моем романе сохранил ее главные черты. Правда, в то время в моей голове вращались другие образы: я собирался писать «Рудина»; но та задача, которую я потом постарался выполнить в «Накануне», изредка возникала передо мною. Фигура главной героини, Елены, тогда еще нового типа в русской жизни, довольно ясно обрисовывалась в моем воображении; но не доставало героя, такого лица, которому Елена, при ее еще смутном, хотя сильном стремлении к свободе, могла предаться. Прочтя тетрадку Каратеева, я невольно воскликнул: «Вот тот герой, которого я искал!» Между тогдашними русскими такого еще не было. Когда на следующий день я увидел Каратеева, я не только подтвердил ему мое решение исполнить его просьбу, но и поблагодарил его за то, что он вывел меня из затруднения и внес луч света в мои, еще до тех пор темные, соображения и измышления. Каратеев этому обрадовался и, повторив еще раз: «Не дайте этому всему умереть», уехал на службу в Крым, откуда он, к глубокому моему сожалению, не вернулся. Предчувствия его сбылись. Он умер от тифа на стоянке близ Гнилого моря, где было помещено — в

землянках — наше орловское ополчение, не выдавшее во всё время войны ни одного неприятеля и тем не менее потерявшее от различных болезней около половины своих людей. Я, однако, отложил исполнение своего обещания: я занялся другой работой; кончивши «Рудина», я принялся за «Дворянское гнездо»; и только зимою, с 58-го на 59-й год, очутившись снова в той же деревне и в той же обстановке, как и во время моего знакомства с Каратеевым, я почувствовал, что уснувшие впечатления зашевелились; я отыскал, я перечел его тетрадку, отступившие на второй план образы выступили снова на первый — и я тотчас же принялся за перо. Некоторым из моих знакомых тогда же стало известным всё то, что я теперь рассказал; но я считаю своей обязанностью ныне, при окончательном издании моих романов, поделиться этим и с публикой и тем заплатить хотя позднюю дань памяти моего бедного молодого друга.

И вот каким образом болгарин сделался героем моего романа. А господа критики дружно упрекали меня в деланности и безжизненности этого лица, удивлялись моей странной затее выбрать именно болгарина, спрашивали: «Почему? С какой стати? Какой смысл?» Ларчик просто открывался — но я не почел тогда нужным входить в дальнейшие объяснения.

Об «Отцах и детях», кажется, нет нужды говорить подробно: этому роману посвящена целая глава моих «Литературных и житейских воспоминаний». Замечу одно: вот уже семнадцать лет прошло со времени появления «Отцов и детей», а, сколько можно судить, взгляд критики на это произведение всё еще не установился — и не далее как в прошлом году я, по поводу Базарова, мог прочесть в одном журнале, что я не что иное, как «башибузук, добывающий не им раненных». Правда, это сказал тот самый г. Антонович, который, вскоре после появления «Отцов и детей», утверждал, что г. Аскоченский предвосхитил содержание моего романа.

«Дым» хотя успех имел довольно значительный, однако большое возбудил против меня негодование. Особенно сильны были упреки в недостатке патриотизма, в оскорблении родного края и т. п. Опять появились эпиграммы. Сам Ф. И. Тютчев, дружбой которого я всегда гордился и горжусь донныне, — счел нужным написать стихотворение, в котором оплакивал ложную дорогу, избранную мною. Оказалось, что я одинаково, хотя с различных точек зрения, оскорбил и правую и левую сторону нашей читающей публики. Я несколько усомнился в самом себе и умолк на некоторое время.

Что же касается до «Нови» — то, я полагаю, не для чего настаивать на том, каким дружным осуждением было встречено это мое последнее, столь трудно доставшееся мне произведение. За исключением двух-трех отзывов — писанных, не печатных — я ни от кого не слышал ничего, кроме хулы. Сперва уверяли, что я всё это выдумал; что, живя почти постоянно за границей, я потерял всякое понимание русской жизни, русского человека; что одно лишь мелкое самолюбие да

склонность к популярничанью водили моим пером; один журналист поспешил объявить, что всякий порядочный человек должен непременно плюнуть на мою книгу и тут же попать ее ногами¹. А потом, после известного процесса, оправдавшего большую часть того, что называли моими выдумками, судьи мои принялись толковать другое: будто я сам чуть ли не участвовал в тех неблагонамеренных замыслах и, уж конечно, знал о них, ибо в противном случае — как бы мог я предвидеть и предсказать заранее?! и т. д. и т. д. Всё это потом пришло понемногу в равновесие; и во время моего последнего пребывания в России я мог убедиться, что, не отступая от некоторых, несомненно справедливых обвинений, главным образом основанных на моем удалении от родины, большинство моих соотечественников не считает мой последний роман вполне бесполезным, или вредным, или достойным одного презрения.

Так и оправдались на мне слова покойного Белинского, которые он часто любил повторять: «Всякий человек рано или поздно попадает на свою полочку».

«Was ist der langen Rede kurzer Sinn?» — К чему клонится вся эта речь? — спросит, пожалуй, иной читатель. Во-первых, к оправданию того намерения, которое было выражено мною в первых же строках настоящего предисловия; а во-вторых, к следующему выводу, внушенному мне многолетним опытом:

Критика наша, особенно в последнее время, не может предъявить притязания на непогрешимость — и тот писатель, кто слушается *ее одной*, подвергается опасности испортить свое дарование. Главный ее грех состоит в том, что она несвободна. Не могу кстати не высказать своего мнения о «бессознательном и сознательном творчестве», о «предвзятых идеях и тенденциях», о «пользе объективности, непосредственности и наивности» — обо всех этих «жалких» словах, которые, из каких бы авторитетных уст они ни исходили, всегда казались мне общими местами, ходячей риторической монетой, которая потому только не считается за фальшивую, что ее слишком многие принимают за настоящую. Всякий писатель, *не лишенный таланта* (это, конечно, первое условие), — всякий писатель, говорю, старается прежде всего верно и живо воспроизводить впечатления, вынесенные им из собственной и чужой жизни; всякий читатель имеет право судить, насколько он в этом успел и где ошибся; но кто имеет право указывать ему, какие именно впечатления годятся в литературу и какие — нет? Коли он правдив — значит, он прав; а коли у него нет таланта — никакая «объективность» ему не поможет. У нас теперь развелись сочинители, которые сами почитают себя «бессознательными творцами» и выбирают всё «жизненные» сюжеты; а между тем насквозь проникнуты именно этой злополучной «тенденцией». Всем известно изречение:

¹ Один рецензент пошел еще далее. По поводу некоторых статей о переводах «Нови», появившихся за границей, он произнес следующее изречение: «Пускай иностранцы о нем статьи пишут; а мы даже плюнуть на него не хотим». Экая скупость, подумаешь!

поэт мыслит образами; это изречение совершенно неоспоримо и верно; но на каком основании вы, его критик и судья, позволяете ему образно воспроизводить картину природы, что ли, народную жизнь, цельную натуру (вот еще *жалкое* слово!), а коснись он чего-нибудь смутного, психологически сложного, даже болезненного — особенно если это не частный факт, а выдвинуто из глубины недр своих тою же самой народной, общественной жизнью, — вы кричите: стой! Это никуда не годится, это рефлексия, предвзятая идея, это политика! публицистика! Вы утверждаете, что у публициста и у поэта задачи разные... Нет! Они могут быть совершенно одинаковы у обоих; только публицист смотрит на них глазами публициста, а поэт — глазами поэта. В деле искусства вопрос: как? — важнее вопроса: что? Если всё отвергаемое вами — *образом*, заметьте: *образом* — ложится в душу писателя, — то с какой стати вы заподозриваете его намерения, почему выталкиваете его вон из того храма, где на разубранных алтарях восседают жрецы «бессознательного» искусства — на алтарях, перед которыми курится фимиам, часто зажженный собственными руками этих самых жрецов? Поверьте: талант настоящий никогда не служит посторонним целям и в самом себе находит удовлетворение; окружающая его жизнь дает ему содержание — он является ее *сосредоточенным отражением*; но он так же мало способен написать панегирик, как и пасквиль... В конце концов — это ниже его. Подчиниться заданной теме или проводить программу могут только те, которые другого, лучшего не умеют.

Иван Тургенев
Париж. 1879. Август.

РУДИН

I

Было тихое летнее утро. Солнце уже довольно высоко стояло на чистом небе; но поля еще блестели росой, из недавно проснувшихся долин веяло душистой свежестью, и в лесу, еще сыром и не шумном, весело распевали ранние птички. На вершине пологого холма, сверху донизу покрытого только что зацветшею рожью, виднелась небольшая деревенька. К этой деревеньке, по узкой проселочной дорожке, шла молодая женщина, в белом кисейном платье, круглой соломенной шляпе и с зонтиком в руке. Казачок издали следовал за ней.

Она шла не торопясь и как бы наслаждаясь прогулкой. Кругом, по высокой, зыбкой ржи, переливаясь то серебристо-зеленой, то красноватой рябью, с мягким шелестом бежали длинные волны; в вышине звенели жаворонки. Молодая женщина шла из собственного своего села, отстоявшего не более версты от деревеньки, куда она направляла путь; звали ее Александрой Павловной Липиной. Она была вдова, бездетна и довольно богата, жила вместе с своим братом, отставным штаб-ротмистром Сергеем Павлычем Волынцевым. Он не был женат и распоряжался ее имением.

Александра Павловна дошла до деревеньки, остановилась у крайней избышки, весьма ветхой и низкой, и, подзвав своего казачка, велела ему войти в нее и спросить о здоровье хозяйки. Он скоро вернулся в сопровождении дряхлого мужика с белой бородой.

— Ну, что? — спросила Александра Павловна.

— Жива еще... — проговорил старик.

— Можно войти?

— Отчего же? можно.

Александра Павловна вошла в избу. В ней было и тесно, и душно, и дымно... Кто-то закопошился и застонал на лежанке. Александра Павловна оглянулась и увидела в полумраке желтую и сморщенную голову старушки, повязанной клетчатый платком. Покрытая по самую грудь тяжелым армяком, она дышала с трудом, слабо разводя худыми руками.

Александра Павловна приблизилась к старушке и прикоснулась пальцами до ее лба... Он так и пылал.

— Как ты себя чувствуешь, Матрена? — спросила она, наклонившись над лежанкой.

— О-ох! — простонала старушка, всмотревшись в Александру Павловну. — Плохо, плохо, родная! Смертный часик пришел, голубушка!

— Бог милостив, Матрена: может быть, ты поправишься. Ты приняла лекарство, которое я тебе прислала?

Старушка тоскливо заохала и не отвечала. Она не расслышала вопроса.

— Приняла, — проговорил старик, остановившийся у двери.

Александра Павловна обратилась к нему.

— Кроме тебя при ней никого нет? — спросила она.

— Есть девочка — ее внучка, да всё вот отлучается. Не посидит: такая егозливая. Воды подать испить бабке — и то лень. А я сам стар: куда мне?

— Не перевезти ли ее ко мне в больницу?

— Нет! зачем в больницу! всё одно помирать-то. Пожила довольно; видно, уж так Богу угодно. С лежанки не сходит. Где ж ей в больницу! Ее станут поднимать, она и помрет.

— Ох, — застонала больная, — красавица-барыня, сироточку-то мою не оставь; наши господа далеко, а ты...

Старушка умолкла. Она говорила через силу.

— Не беспокойся, — промолвила Александра Павловна, — всё будет сделано. Вот я тебе чаю и сахару принесла. Если захочется, выпей... Ведь самовар у вас есть? — прибавила она, взглянув на старика.

— Самовар-то? Самовара у нас нету, а достать можно.

— Так достань, а то я пришлю свой. Да прикажи внучке, чтобы она не отлучалась. Скажи ей, что это стыдно.

Старик ничего не отвечал, а сверток с чаем и сахаром взял в обе руки.

— Ну, прощай, Матрена! — проговорила Александра Павловна, — я к тебе еще приду, а ты не унывай и лекарство принимай аккуратно...

Старуха приподняла голову и потянулась к Александре Павловне.

— Дай, барыня, ручку, — пролепетала она.

Александра Павловна не дала ей руки, нагнулась и поцеловала ее в лоб.

— Смотри же, — сказала она, уходя, старику, — лекарство ей давайте непременно, как написано... И чаем ее напойте...

Старик опять ничего не отвечал и только поклонился.

Свободно вздохнула Александра Павловна, очутившись на свежем воздухе. Она раскрыла зонтик и хотела было идти домой, как вдруг из-за угла избушки выехал, на низеньких беговых дрожках, человек лет тридцати, в старом пальто из серой коломянки и такой же фуражке. Увидев Александру Павловну, он тотчас остановил лошадь и обернулся к ней лицом. Широкое, без румянца, с небольшими бледно-серыми глазками и белесоватыми усами, оно подходило под цвет его одежды.

— Здравствуйте, — проговорил он с ленивой усмешкой, — что это вы тут такое делаете, позвольте узнать?

— Я навещала больную... А вы откуда, Михайло Михайлыч?

Человек, называвшийся Михайло Михайлычем, посмотрел ей в глаза и опять усмехнулся.

— Это вы хорошо делаете, — продолжал он, — что больную навещаете; только не лучше ли вам ее в больницу перевезти?

— Она слишком слаба: ее нельзя тронуть.

— А больницу свою вы не намерены уничтожить?

— Уничтожить? зачем?

— Да так.

— Что за странная мысль! С чего это вам в голову пришло?

— Да вы вот с Ласунской всё знаете и, кажется, находитесь под ее влиянием. А по ее словам, больницы, училища — это всё пустяки, ненужные выдумки. Благотворение должно быть личное, просвещение тоже: это всё дело души... так, кажется, она выражается. С чьего это голоса она поет, желал бы я знать?

Александра Павловна засмеялась.

— Дарья Михайловна умная женщина, я ее очень люблю и уважаю; но и она может ошибаться, и я не каждому ее слову верю.

— И прекрасно делаете, — возразил Михайло Михайлыч, всё не слезая с дрожек, — потому что она сама словам своим плохо верит. А я очень рад, что встретил вас.

— А что?

— Хорош вопрос! Как будто не всегда приятно вас встретить! Сегодня вы так же свежи и милы, как это утро.

Александра Павловна опять засмеялась.

— Чему же вы смеетесь?

— Как чему? Если б вы могли видеть, с какой вялой и холодной миной вы произнесли ваш комплимент! Удивляюсь, как вы не зевнули на последнем слове.

— С холодной миной... Вам всё огня нужно; а огонь никуда не годится. Вспыхнет, надымит и погаснет.

— И согреет, — подхватила Александра Павловна.

— Да... и обожжет.

— Ну, что ж, что обожжет! И это не беда. Всё же лучше, чем...

— А вот я посмотрю, то ли вы заговорите, когда хоть раз хорошенько обожжетесь, — перебил ее с досадой Михайло Михайлыч и хлопнул вожгой по лошади. — Прощайте!

— Михайло Михайлыч, стойте! — закричала Александра Павловна, — когда вы у нас будете?

— Завтра; поклонитесь вашему брату.

И дрожки покатались.

Александра Павловна посмотрела вслед Михаилу Михайловичу.

«Какой мешок!» — подумала она. Сгорбленный, запыленный, с фуражкой на затылке, из-под которой беспорядочно торчали косицы желтых волос, он действительно походил на большой мучной мешок.

Александра Павловна отправилась тихонько назад по дороге домой. Она шла с опущенными глазами. Близкий топот лошади заставил ее остановиться и поднять голову... Ей навстречу ехал ее брат верхом; рядом с ним шел молодой человек небольшого роста, в легоньком сюртучке нараспашку, легоньком галстучке и легонькой серой шляпе, с тросточкой в руке. Он уже давно улыбался Александре Павловне, хотя и видел, что она шла в раздумье, ничего не замечая, а как только она остановилась, подошел к ней и радостно, почти нежно произнес:

— Здравствуйте, Александра Павловна, здравствуйте!

— А! Константин Диомидыч! здравствуйте! — ответила она. — Вы от Дарьи Михайловны?

— Точно так-с, точно так-с, — подхватил с сияющим лицом молодой человек, — от Дарьи Михайловны. Дарья Михайловна послала меня к вам-с; я предпочел идти пешком... Утро такое чудесное, всего четыре версты расстояния. Я прихожу — вас дома нет-с. Мне ваш братец говорит, что вы пошли в Семеновку, и сами собираются в поле; я вот с ними и пошел-с, к вам навстречу. Да-с. Как это приятно!

Молодой человек говорил по-русски чисто и правильно, но с иностранным произношением, хотя трудно было определить, с каким именно. В чертах лица его было нечто азиатское. Длинный нос с горбиной, большие неподвижные глаза навывкате, крупные красные губы, покатый лоб, черные как смоль волосы — всё в нем изобличало восточное происхождение; но молодой человек именовался по фамилии Пандалевским и называл своею родиной Одессу, хотя и воспитывался где-то в Белоруссии, на счет благотельной и богатой вдовы. Другая вдова определила его на службу. Вообще дамы средних лет охотно покровительствовали Константину Диомидычу: он умел искать, умел находить в них. Он и теперь жил у богатой помещицы, Дарьи Михайловны Ласунской, в качестве приемыша или нахлебника. Он был весьма ласков, услужлив, чувствителен и втайне сластолюбив, обладал приятным голосом, порядочно играл на фортепьяно и имел привычку, когда говорил с кем-нибудь, так и впиваться в него глазами. Он одевался очень чистенько и платье носил чрезвычайно долго, тщательно выбривал свой широкий подбородок и причесывал волосок к волоску.

Александра Павловна выслушала его речь до конца и обратилась к брату:

— Сегодня мне всё встречи: сейчас я разговаривала с Лежневым.

— А, с ним! Он ехал куда-нибудь?

— Да; и вообрази, на беговых дрожках, в каком-то полотняном мешке, весь в пыли... Какой он чудак!

— Да, быть может; только он славный человек.

— Кто это? Г-н Лежнев? — спросил Пандалевский, как бы удивясь.

— Да, Михайло Михайлыч Лежнев, — возразил Волынцев. — Однако прощай, сестра: мне пора ехать в поле; у тебя гречиху сеют. Г-н Пандалевский тебя проведет домой...

И Волынцев пустил лошадь рысью.

— С величайшим удовольствием! — воскликнул Константин Диомидыч и предложил Александре Павловне руку.

Она подала ему свою, и оба отправились по дороге в ее усадьбу.

* * *

Вести под руку Александру Павловну доставляло, по-видимому, большое удовольствие Константину Диомидычу; он выступал маленькими шагами, улыбался, а восточные глаза его даже покрылись влагой, что, впрочем, с ними случалось нередко: Константину Диомидычу ничего не стоило умилиться и пролить слезу. И кому бы не было приятно вести под руку хорошенькую женщину, молодую и стройную? Об Александре Павловне вся...ая губерния единогласно говорила, что она прелесть, и...ая губерния не ошибалась. Один ее прямой, чуть-чуть вздернутый носик мог свести с ума любого смертного, не говоря уже о ее бархатных карих глазках, золотисто-русых волосах, ямках на круглых щечках и других красотах. Но лучше всего в ней было выражение ее миловидного лица: доверчивое, добродушное и кроткое, оно и трогало, и привлекало. Александра Павловна глядела и смеялась, как ребенок; барыни находили ее протенькой... Можно ли было чего-нибудь еще желать?

— Вас Дарья Михайловна ко мне прислала, говорите вы? — спросила она Пандалевского.

— Да-с, прислала-с, — отвечал он, выговаривая букву «с», как английское «th», — оне непременно желают и велели вас убедительно просить, чтобы вы пожаловали сегодня к ним обедать... Оне (Пандалевский, когда говорил о третьем лице, особенно о даме, строго придерживался множественного числа) — оне ждут к себе нового гостя, с которым непременно желают вас познакомить.

— Кто это?

— Некто Муффель, барон, камер-юнкер из Петербурга. Дарья Михайловна недавно с ним познакомились у князя Гарина и с большой похвалой о нем отзываются, как о любезном и образованном молодом человеке. Г-н барон занимается также литературой, или, лучше сказать... ах, какая прелестная бабочка! извольте обратиться ваше внимание... лучше сказать, политической экономией. Он написал статью о каком-то очень интересном вопросе — и желает подвергнуть ее на суд Дарья Михайловне.

— Политико-экономическую статью?

— С точки зрения языка-с, Александра Павловна, с точки зрения языка-с. Вам, я думаю, известно, что и в этом Дарья Михайловна знаток-с. Жуковский с ними советовался, а благодетель мой, проживающий в Одессе благопотребный старец Роксолан Медиарович Ксандрыка... Вам, наверно, известно имя этой особы?

— Нисколько, и не слыхивала.

— Не слыхивали о таком муже? Удивительно! Я хотел сказать, что и Роксолан Медиарович очень был всегда высокого мнения о познаниях Дарьи Михайловны в российском языке.

— А не педант этот барон? — спросила Александра Павловна.

— Никак нет-с; Дарья Михайловна рассказывают, что, напротив, светский человек в нем сейчас виден. О Бетховене говорил с таким красноречием, что даже старый князь почувствовал восторг... Это я, признаюсь, послушал бы: ведь это по моей части. Позвольте вам предложить этот прекрасный полевой цветок.

Александра Павловна взяла цветок и, пройдя несколько шагов, уронила его на дорогу... До дому ее оставалось шагов двести, не более. Недавно выстроенный и выбеленный, он приветливо выглядывал своими широкими светлыми окнами из густой зелени старинных лип и кленов.

— Так как же-с прикажете доложить Дарье Михайловне, — заговорил Пандалевский, слегка обиженный участью поднесенного им цветка, — пожалуете вы к обеду? Оне и братца вашего просят.

— Да, мы приедем, непременно. А что Наташа?

— Наталья Алексеевна, слава богу, здоровы-с... Но мы уже прошли поворот к имению Дарьи Михайловны. Позвольте мне раскланяться.

Александра Павловна остановилась.

— А вы разве не зайдете к нам? — спросила она нерешительным голосом.

— Душевно бы желал-с, но боюсь опоздать. Дарье Михайловне угодно послушать новый этюд Тальберга: так надо приготовиться и подучить. Притом я, признаюсь, сомневаюсь, чтобы моя беседа могла доставить вам какое-нибудь удовольствие.

— Да нет... почему же...

Пандалевский вздохнул и выразительно опустил глаза.

— До свидания, Александра Павловна! — проговорил он, помолчав немного, поклонился и отступил шаг назад.

Александра Павловна повернулась и пошла домой.

Константин Диомидыч также пустился восвояси. С лица его тотчас исчезла вся сладость: самоуверенное, почти суровое выражение появилось на нем. Даже походка Константина Диомидыча изменилась; он теперь и шагал шире и наступал тяжелее. Он прошел версты две, развязно помахивая палочкой, и вдруг опять осклабился: он увидел возле дороги молодую, довольно смазливую крестьянскую девушку, которая выгоняла телят из овса. Константин Диомидыч осторожно, как кот, подошел к девушке и заговорил с ней. Та сперва молчала, краснела и посмеивалась, наконец закрыла губы рукавом, отворотилась и промолвила:

— Ступай, барин, право...

Константин Диомидыч погрозил ей пальцем и велел ей принести себе васильков.

— На что тебе васильков? венки, что ль, плесть? — возразила девушка, — да ну, ступай же, право...

— Послушай, моя любезная красоточка, — начал было Константин Диомидыч...

— Да ну, ступай, — перебила его девушка, — баричи вон идут.

Константин Диомидыч оглянулся. Действительно, по дороге бежали Ваня и Петя, сыновья Дарьи Михайловны; за ними шел их учитель, Басистов, молодой человек двадцати двух лет, только что окончивший курс. Басистов был рослый мальтй, с простым лицом, большим носом, крупными губами и свиными глазками, некрасивый и неловкий, но добрый, честный и прямой. Он одевался небрежно, не стриг волос, — не из шегольства, а от лени; любил поесть, любил поспать, но любил также хорошую книгу, горячую беседу и всей душой ненавидел Пандалевского.

Дети Дарьи Михайловны обожали Басистова и уж несколько его не боялись; со всеми остальными в доме он был на короткой ноге, что не совсем нравилось хозяйке, как она ни толковала о том, что для нее предрасудков не существует.

— Здравствуйте, мои миленькие! — заговорил Константин Диомидыч, — как вы рано сегодня гулять пошли! А я, — прибавил он, обращаясь к Басистову, — уже давно вышел; моя страсть — наслаждаться природой.

— Видели мы, как вы наслаждаетесь природой, — пробормотал Басистов.

— Вы материалист: уже сейчас бог знает что думаете. Я вас знаю.

Пандалевский, когда говорил с Басистовым или подобными ему людьми, легко раздражался и букву «с» произносил чисто, даже с маленьким свистом.

— Что же, вы у этой девки, небось, дорогу спрашивали? — проговорил Басистов, поводя глазами и вправо и влево.

Он чувствовал, что Пандалевский глядит ему прямо в лицо, а это ему было крайне неприятно.

— Я повторяю: вы материалист и больше ничего. Вы непременно желаете во всем видеть одну прозаическую сторону...

— Дети! — скомандовал вдруг Басистов, — видите вы на лугу ракиту; посмотрим, кто скорее до нее добежит... Раз! два! три!

И дети бросились во все ноги к раките. Басистов устремился за ними.

«Мужик! — подумал Пандалевский, — испортит он этих мальчишек... Совершенный мужик!»

И, с самодовольствием окинув взглядом свою собственную опрятную и изящную фигурку, Константин Диомидыч ударил раза два растопыренными пальцами по рукаву сюртука, встряхнул воротником и отправился далее. Вернувшись к себе в комнату, он надел старенький халат и с озабоченным лицом сел за фортепьяно.

II

Дом Дарьи Михайловны Ласунской считался чуть ли не первым по всей...ой губернии. Огромный, каменный, сооруженный по рисункам Растрелли во вкусе прошедшего столетия, он величественно возвышался на вершине холма, у подошвы которого протекала одна из главных рек средней России. Сама Дарья Михайловна была знатная и богатая барыня, вдова тайного советника. Хотя Пандалевский и рассказывая про нее, что она знает всю Европу, да и Европа ее знает! — однако Европа ее знала мало, даже в Петербурге она важной роли не играла; зато в Москве ее все знали и ездили к ней. Она принадлежала к высшему свету и слыла за женщину несколько странную, не совсем добрую, но чрезвычайно умную. В молодости она была очень хороша собою. Поэты писали ей стихи, молодые люди в нее влюблялись, важные господа волочили за ней. Но с тех пор прошло лет двадцать пять или тридцать, и прежних прелестей не осталось и следа. «Неужели, — спрашивал себя невольню всякий, кто только видел ее в первый раз, — неужели эта худенькая, желтенькая, востроносая и еще не старая женщина была когда-то красавицей? Неужели это она, та самая, о которой бряцали лиры?...» И всякий внутренне удивлялся переменчивости всего земного. Правда, Пандалевский находил, что у Дарьи Михайловны удивительно сохранились ее великолепные глаза; но ведь тот же Пандалевский утверждал, что ее вся Европа знает.

Дарья Михайловна приезжала каждое лето к себе в деревню с своими детьми (у нее их было трое: дочь Наталья, семнадцати лет, и два сына, десяти и девяти лет) и жила открыто, то есть принимала мужчин, особенно холостых; провинциальных барынь она терпеть не могла. Зато и доставалось же ей от этих барынь! Дарья Михайловна, по их словам, была и горда, и безнравственна, и тиранка страшная; а главное — она позволяла себе такие вольности в разговоре, что ужаси! Дарья Михайловна действительно не любила стеснять себя в деревне, и в свободной простоте ее обхождения замечался легкий оттенок презрения столичной львицы к окружавшим ее, довольно темным и мелким существам... Она и с городскими знакомыми обходилась очень развязно, даже насмешливо; но оттенка презрения не было.

Кстати, читатель, заметили ли вы, что человек, необыкновенно рассеянный в кружке подчиненных, никогда не бывает рассеян с лицами высшими? Отчего бы это? Впрочем, подобные вопросы ни к чему не ведут.

Когда Константин Диомидыч, вытвердив, наконец, тальберговский этюд, спустился из своей чистой и веселенькой комнаты в гостиную, он уже застал всё домашнее общество собранным. *Салон* уже начался. На широкой кушетке, подобрав под себя ноги и вертя в руках новую французскую брошюру, расположилась хозяйка; у окна за пальями сидели: с одной стороны дочь Дарьи Михайловны, а с другой

m-lle Boncourt¹ — гувернантка, старая и сухая дева лет шестидесяти, с накладкой черных волос под разноцветным чепцом и хлопчатой бумагой в ушах; в углу, возле двери, поместился Басистов и читал газету, подле него Петя и Ваня играли в шашки, а прислонясь к печке и заложив руки за спину, стоял господин небольшого роста, взъерошенный и седой, с смуглым лицом и беглыми черными глазками — некто Африкан Семеныч Пигасов.

Странный человек был этот господин Пигасов. Озлобленный противу всего и всех — особенно против женщин, — он бранился с утра до вечера, иногда очень метко, иногда довольно тупо, но всегда с наслаждением. Раздражительность его доходила до ребячества; его смех, звук его голоса, всё его существо казалось пропитанным желчью. Дарья Михайловна охотно принимала Пигасова: он потешал ее своими выходками. Они точно были довольно забавны. Всё преувеличивать было его страстью. Например: о каком бы несчастье при нем ни говорили — рассказывали ли ему, что громом зажгло деревню, что вода прорвала мельницу, что мужик себе топором руку отрубил, — он всякий раз с сосредоточенным ожесточением спрашивал: «А как ее зовут?» — то есть как зовут женщину, от которой произошло то несчастье, потому что, по его уверениям, всякому несчастью причиной женщина, стоит только хорошенько вникнуть в дело. Он однажды бросился на колени перед почти незнакомой ему барыней, которая приставала к нему с угощением, и начал слезно, но с написанной на лице яростью умолять ее, чтобы она его пощадила, что он ничем перед ней не провинился и вперед у ней никогда не будет. Раз лошадь помчала под гору одну из прачек Дарьи Михайловны, опрокинула ее в ров и чуть не убила. Пигасов с тех пор иначе не называл эту лошадь, как добрый, добрый конек, а самую гору и ров находил чрезвычайно живописными местами. Пигасову в жизни не повезло — он эту дурь и напустил на себя. Он происходил от бедных родителей. Отец его занимал разные мелкие должности, едва знал грамоте и не заботился о воспитании сына; кормил, одевал его — и только. Мать его баловала, но скоро умерла. Пигасов сам себя воспитывал, сам определил себя в уездное училище, потом в гимназию, выучился языкам, французскому, немецкому и даже латинскому, и, выйдя из гимназии с отличным аттестатом, отправился в Дерпт, где постоянно боролся с нуждою, но выдержал трехгодичный курс до конца. Способности Пигасова не выходили из разряда обыкновенных; терпением и настойчивостью он отличался, но особенно сильно было в нем чувство честолюбия, желание попасть в хорошее общество, не отстать от других, назло судьбе. Он и учился прилежно и в Дерптский университет поступил из честолюбия. Бедность сердила его и развила в нем наблюдательность и лукавство. Он выражался своеобразно; он смолоду присвоил себе особый род желчного и раздражительного красноречия. Мысли его не

¹ м-ль Бонкур (франц.).

возвышались над общим уровнем; а говорил он так, что мог казаться не только умным, но даже очень умным человеком. Получив степень кандидата, Пигасов решился посвятить себя ученому званию: он понял, что на всяком другом поприще он бы никак не мог угнаться за своими товарищами (он старался выбирать их из высшего круга и умел к ним подделаться, даже льстил им, хотя всё ругался). Но тут в нем, говоря попросту, материала не хватило. Самоучка не из любви к науке, Пигасов в сущности знал слишком мало. Он жестоко провалился в диспуте, между тем как живший с ним в одной комнате другой студент, над которым он постоянно смеялся, человек весьма ограниченный, но получивший правильное и прочное воспитание, восторжествовал вполне. Неудача эта взбесила Пигасова: он бросил в огонь все свои книги и тетради и поступил на службу. Сначала дело пошло недурно: чиновник он был хоть куда, не очень распорядительный, зато крайне самоуверенный и бойкий; но ему захотелось поскорее выскочить в люди — он запутался, споткнулся и принужден был выйти в отставку. Года три просидел он у себя в благоприобретенной деревеньке и вдруг женился на богатой, полуобразованной помещице, которую поймал на удочку своих развязных и насмешливых манер. Но нрав Пигасова уже слишком раздражился и окис; он тяготился семейной жизнью... Жена его, пожив с ним несколько лет, уехала тайком в Москву и продала какому-то ловкому аферисту свое имение, а Пигасов только что построил в нем усадьбу. Потрясенный до основания этим последним ударом, Пигасов затеял было тяжбу с женою, но ничего не выиграл... Он доживал свой век одиноко, разъезжал по соседям, которых бранил за глаза и даже в глаза и которые принимали его с каким-то напряженным полухохотом, хотя серьезного страха он им не внушал, — и никогда книги в руки не брал. У него было около ста душ; мужики его не бедствовали.

— А! Constantin! — проговорила Дарья Михайловна, как только Пандалевский вошел в гостиную, — Alexandrine будет?

— Александра Павловна велели вас благодарить и за особенное удовольствие себе поставляют, — возразил Константин Диомидыч, приятно раскланиваясь на все стороны и прикасаясь толстой, но белой ручкой с ногтями, остриженными треугольником, к превосходно причесанным волосам.

— И Волынцев тоже будет?

— И они-с.

— Так как же, Африкан Семеныч, — продолжала Дарья Михайловна, обратись к Пигасову, — по-вашему, все барышни неестественны?

У Пигасова губы скрутились набок, и он нервически задергал локтем.

— Я говорю, — начал он неторопливым голосом — он в самом сильном припадке ожесточения говорил медленно и отчетливо, — я говорю, что барышни вообще — о присутствующих, разумеется, я умалчиваю...

ДВОРЯНСКОЕ ГНЕЗДО

I

Весенний, светлый день клонился к вечеру; небольшие розовые тучки стояли высоко в ясном небе и, казалось, не плыли мимо, а уходили в самую глубь лазури.

Перед раскрытым окном красивого дома, в одной из крайних улиц губернского города О... (дело происходило в 1842 году), сидели две женщины — одна лет пятидесяти, другая уже старушка, семидесяти лет.

Первую из них звали Марьей Дмитриевной Калитиной. Ее муж, бывший губернский прокурор, известный в свое время делец, — человек бойкий и решительный, желчный и упрямый, — умер лет десять тому назад. Он получил изрядное воспитание, учился в университете, но, рожденный в сословии бедном, рано понял необходимость проложить себе дорогу и набить деньгу. Марья Дмитриевна вышла за него по любви: он был недурен собою, умен и, когда хотел, очень любезен. Марья Дмитриевна (в девицах Пестова) еще в детстве лишилась родителей, провела несколько лет в Москве, в институте, и, вернувшись оттуда, жила в пятидесяти верстах от О..., в родовом своем селе Покровском, с теткой да с старшим братом. Брат этот скоро переселился в Петербург на службу и держал и сестру и тетку в черном теле, пока внезапная смерть не положила предела его поприщу. Марья Дмитриевна наследовала Покровское, но не долго жила в нем; на второй же год после ее свадьбы с Калитиным, который в несколько дней успел покорить ее сердце, Покровское было променено на другое имение, гораздо более доходное, но некрасивое и без усадьбы; и в то же время Калитин приобрел дом в городе О..., где и поселился с женою на постоянное жительство. При доме находился большой сад; одной стороной он выходил прямо в поле, за город. «Стало быть, — решил Калитин, большой неохотник до сельской тишины, — в деревню таскаться незачем». Марья Дмитриевна не раз в душе пожалела о своем хорошеньком Покровском с веселой речкой, широкими лугами и зелеными рощами; но она ни в чем не прекословила мужу и благоговела пред его умом и знанием света. Когда же, после пятнадцатилетнего брака, он умер, оставив сына и двух дочерей, Марья Дмитриевна уже до того

привыкла к своему дому и к городской жизни, что сама не захотела выехать из О...

Марья Дмитриевна в молодости пользовалась репутацией миленькой блондинки; и в пятьдесят лет черты ее не были лишены приятности, хотя немного распухли и сплылись. Она была более чувствительна, нежели добра, и до зрелых лет сохранила институтские замашки; она избаловала себя, легко раздражалась и даже плакала, когда нарушались ее привычки; зато она была очень ласкова и любезна, когда все ее желания исполнялись и никто ей не прекословил. Дом ее принадлежал к числу приятнейших в городе. Состояние у ней было весьма хорошее, не столько наследственное, сколько благоприобретенное мужем. Обе дочери жили с нею; сын воспитывался в одном из лучших казенных заведений в Петербурге.

Старушка, сидевшая с Марьей Дмитриевной под окошком, была та самая тетка, сестра ее отца, с которою она провела некогда несколько уединенных лет в Покровском. Звали ее Марфой Тимофеевной Пестовой. Она слыла чудачкой, нрав имела независимый, говорила всем правду в глаза и при самых скудных средствах держалась так, как будто за ней водились тысячи. Она терпеть не могла покойного Калитина и, как только ее племянница вышла за него замуж, удалилась в свою деревушку, где прожила целых десять лет у мужика в курной избе. Марья Дмитриевна ее побаивалась. Черноволосая и быстроглазая даже в старости, маленькая, востроносая, Марфа Тимофеевна ходила живо, держалась прямо и говорила скоро и внятно, тонким и звучным голоском. Она постоянно носила белый чепец и белую кофту.

— О чем ты это? — спросила она вдруг Марью Дмитриевну. — О чем вздыхаешь, мать моя?

— Так, — промолвила та. — Какие чудесные облака!

— Так тебе их жалко, что ли? Марья Дмитриевна ничего не отвечала.

— Что это Гедеоновский нейдет? — проговорила Марфа Тимофеевна, проворно шевеля спицами (она вязала большой шерстяной шарф). — Он бы повздыхал вместе с тобою, — не то соврал бы что-нибудь.

— Как вы всегда строго о нем отзываетесь! Сергей Петрович — почтенный человек.

— Почтенный! — повторила с укоризной старушка.

— И как он покойному мужу был предан! — проговорила Марья Дмитриевна, — до сих пор вспомнить о нем равнодушно не может.

— Еще бы! тот его за уши из грязи вытащил, — проворчала Марфа Тимофеевна, и спицы еще быстрее заходили в ее руках.

— Глядит таким смиренником, — начала она снова, — голова вся седая, а что рот раскроет, то солжет или насплетничает. А еще статский советник! Ну, и то сказать: попович!

— Кто же без греха, тетушка? Эта слабость в нем есть, конечно. Сергей Петрович воспитания, конечно, не получил, по-французски не говорит; но он, воля ваша, приятный человек.

— Да, он ручки у тебя всё лижет. По-французски не говорит, — эка беда! Я сама не сильна во французском «диалехте». Лучше бы он ни по-каковски не говорил: не лгал бы. Да вот он, кстати, легок на помине, — прибавила Марфа Тимофеевна, глянув на улицу. — Вон он шагает, твой приятный человек. Экой длинный, словно аист!

Марья Дмитриевна поправила свои локоны. Марфа Тимофеевна с усмешкой посмотрела на нее.

— Что это у тебя, никак седой волос, мать моя? Ты побрани свою Палашку. Чего она смотрит?

— Уж вы, тетушка, всегда... — пробормотала с досадой Марья Дмитриевна и застучала пальцами по ручке кресел.

— Сергей Петрович Гедеоновский! — пропищал краснощекий казачок, выскочив из-за двери.

II

Вошел человек высокого роста, в опрятном сюртуке, коротеньких панталонах, серых замшевых перчатках и двух галстуках — одном черном, сверху, другом белом, снизу. Всё в нем дышало приличием и пристойностью, начиная с благообразного лица и гладко причесанных висков до сапогов без каблуков и без скрыпу. Он поклонился сперва хозяйке дома, потом Марфе Тимофеевне и, медленно ставив перчатки, подошел к ручке Марьи Дмитриевны. Поцеловав ее почтительно и два раза сряду, он сел не торопясь в кресла и с улыбкой, потирая самые, кончики пальцев, проговорил:

— А Елизавета Михайловна здоровы?

— Да, — отвечала Марья Дмитриевна, — она в саду.

— И Елена Михайловна?

— Леночка в саду тоже. — Нет ли чего новенького?

— Как не быть-с, как не быть-с, — возразил гость, медленно моргая и вытягивая губы. — Гм!.. да вот пожалуйста, есть новость, и преудивительная: Лаврецкий Федор Иваныч приехал.

— Федя! — воскликнула Марфа Тимофеевна. — Да ты, полно, не сочиняешь ли, отец мой?

— Никак нет-с, я их самолично видел.

— Ну, это еще не доказательство.

— Очень поздоровели, — продолжал Гедеоновский, показывая вид, будто не слышал замечания Марфы Тимофеевны, — в плечах еще шире стали, и румянец во всю щеку.

— Поздоровел, — произнесла с расстановкой Марья Дмитриевна, — кажется, с чего бы ему здороветь?

— Да-с, — возразил Гедеоновский, — другой на его месте и в свет-то показаться посовестился бы.

— Это отчего? — перебила Марья Тимофеевна, — это что за вздор? Человек возвратился на родину — куда ж ему деться прикажете? И благо он в чем виноват был!

— Муж всегда виноват, сударыня, осмелюсь вам доложить, когда жена нехорошо ведет себя.

— Это ты, батюшка, оттого говоришь, что сам женат не был.

Гедеоновский принужденно улыбнулся.

— Позвольте полюбопытствовать, — спросил он после небольшого молчания, — кому назначается этот миленький шарф?

Марфа Тимофеевна быстро взглянула на него.

— А тому назначается, — возразила она, — кто ни когда не сплетничает, не хитрит и не сочиняет, если только есть на свете такой человек. Федю я знаю хорошо; он только тем и виноват, что баловал жену. Ну, да и женился он по любви, а из этих из любовных свадеб ничего путного никогда не выходит, — прибавила старушка, косвенно взглянув на Марью Дмитриевну и вставая. — А ты теперь, мой батюшка, на ком угодно зубки точи хоть на мне; я уйду, мешать не буду. И Марфа Тимофеевна удалилась.

— Вот она всегда так, — проговорила Марья Дмитриевна, проводив свою тетку глазами, — всегда!

— Лета ихние! Что делать-с! — заметил Гедеоновский. — Вот они изволят говорить: кто не хитрит. Да кто нонеча не хитрит? Век уж такой. Один мой приятель, препочтенный и, доложу вам, не малого чина человек, говаривал, что нонеча, мол, курица, и та с хитростью к зерну приближается — всё норовит, как бы сбоку подойти. А как погляжу я на вас, моя барыня, нрав-то у вас истинно ангельский; пожалуйте-ка мне вашу белоснежную ручку.

Марья Дмитриевна слабо улыбнулась и протянула Гедеоновскому свою пухлую руку с отделенным пятым пальчиком. Он приложился к ней губами, а она пододвинула к нему свое кресло и, слегка нагнувшись, спросила вполголоса:

— Так видели вы его? В самом деле он — ничего, здоров, весел?

— Весел-с, ничего-с, — возразил Гедеоновский шёпотом.

— А не слышали вы, где его жена теперь?

— В последнее время в Париже была-с; теперь, слышно, в итальянское государство переселилась.

— Это ужасно, право, — Федино положение; я не знаю, как он переносит. Случаются, точно, несчастья со всяким; но ведь его, можно сказать, на всю Европу распубликовали.

Гедеоновский вздохнул.

— Да-с, да-с. Ведь она, говорят, и с артистами, и с пианистами, и, как там по-ихнему, со львами да со зверями знакомство вела. Стыд потеряла совершенно...

— Очень, очень жалко, — проговорила Марья Дмитриевна. — По-родственному: ведь он мне, Сергей Петрович, вы знаете, внучатный племянник.

— Как же-с, как же-с. Как мне не знать-с всего, что до вашего семейства относится? Помилуйте-с.

— Придет он к нам, как вы думаете?

— Должно полагать-с; а впрочем, они, слышно, к себе в деревню собираются.

Марья Дмитриевна подняла глаза к небу.

— Ах, Сергей Петрович, Сергей Петрович, как я подумаю, как нам, женщинам, нужно осторожно вести себя!

— Женщина женщине розь, Марья Дмитриевна. Есть, к несчастью, такие — нрава непостоянного... ну, и лета; опять правила не внушены сызмала. (Сергей Петрович достал из кармана клетчатый синий платок и начал его развертывать.) Такие женщины, конечно, бывают. (Сергей Петрович поднес угол платка поочередно к своим глазам.) Но вообще говоря, если рассудить, то есть... Пыль в городе необыкновенная, — заключил он.

— Матап, матап, — вскричала, вбегая в комнату, смазливая девочка лет одиннадцати, — к нам Владимир Николаич верхом едет!

Марья Дмитриевна встала; Сергей Петрович тоже встал и поклонился. «Елене Михайловне наше нижайшее», — проговорил он и, отойдя в угол для приличия, принялся сморкать свой длинный и правильный нос.

— Какая у него чудесная лошадь! — продолжала девочка. — Он сейчас был у калитки и сказал нам с Лизой, что к крыльцу подъедет.

Послышался топот копыт, и стройный всадник на красивом гнедом коне показался на улице и остановился перед раскрытым окном.

III

— Здравствуйте, Марья Дмитриевна! — воскликнул звучным и приятным голосом всадник. — Как вам нравится моя новая покупка?

Марья Дмитриевна подошла к окну.

— Здравствуйте, Woldemar! Ах, какая славная лошадь! У кого вы ее купили?

— У ремонтера... Дорого взял, разбойник.

— Как ее зовут?

— Орландом... Да это имя глупо; я хочу переменить... Eh bien, eh bien, mon garçon...¹ Какой неугомонный!

Конь фыркал, переступал ногами и махал оцененною мордой.

— Леночка, погладьте ее, не бойтесь...

¹ Ну, ну, мой мальчик... (франц.).

Девочка протянула из окна руку, но Орланд вдруг взвился на дыбы и бросился в сторону. Всадник не потерялся, взял коня в шенкеля, вытянул его хлыстом по шее и, несмотря на его сопротивление, поставил его опять перед окном.

— *Prenez garde, prenez garde*¹, — твердила Марья Дмитриевна.

— Леночка, поласкайте его, — возразил всадник, — а не позволю ему вольничать.

Девочка опять протянула руку и робко коснулась трепетавших ноздрей Орланда, который беспрестанно вздрагивал и грыз удила.

— Bravo! — воскликнула Марья Дмитриевна, — а теперь слезьте и придите к нам.

Всадник лихо повернул коня, дал ему шпоры и, проскакав коротким галопом по улице, въехал на двор. Минуту спустя он вбежал, помахивая хлыстиком, из двери передней в гостиную; в то же время на пороге другой двери показалась стройная, высокая, черноволосая девушка лет девятнадцати — старшая дочь Марьи Дмитриевны, Лиза.

IV

Молодой человек, с которым мы только что познакомили читателей, прозывался Владимиром Николаичем Паншиным. Он служил в Петербурге чиновником по особым поручениям в министерстве внутренних дел. В город О... он приехал для исполнения временного казенного поручения и состоял в распоряжении губернатора, генерала Зонненберга, которому доводился дальним родственником. Отец Паншина, отставной штабс-ротмистр, известный игрок, человек с сладкими глазами, помятым лицом и нервической дерготней в губах, весь свой век терся между знатью, посещал английские клубы обеих столиц и слыл за ловкого, не очень надежного, но милого и задушевного малого. Несмотря на всю свою ловкость, он находился почти постоянно на самом рубеже нищеты и оставил своему единственному сыну состояние небольшое и расстроенное. Зато он, по-своему, позаботился об его воспитании: Владимир Николаич говорил по-французски прекрасно, по-английски хорошо, по-немецки дурно. Так оно и следует: порядочным людям стыдно говорить хорошо по-немецки; но пускать в ход германское словцо в некоторых, большею частью забавных, случаях — можно, *c'est même très chic*², как выражаются петербургские парижане. Владимир Николаич с пятнадцатилетнего возраста уже умел не смущаясь войти в любую гостиную, приятно повертеться в ней и кстати удалиться. Отец Паншина доставил сыну своему много связей; тасуя карты между двумя робберами или после удачного «большого шлема», он не пропускал случая запустить словечко о своем «Володыке» какому-нибудь важному лицу, охотнику до коммер-

¹ Осторожнее, осторожнее (*франц.*).

² это даже очень шикарно (*франц.*).

ческих игр. С своей стороны, Владимир Николаич во время пребывания в университете, откуда он вышел с чином действительного студента, познакомился с некоторыми знатными молодыми людьми и стал вхож в лучшие дома. Его везде охотно принимали; он был очень недурен собою, развязен, забавен, всегда здоров и на всё готов; где нужно — почтителен, где можно — дерзок, отличный товарищ, un charmant garçon¹. Заветная область раскрылась перед ним. Паншин скоро понял тайну светской науки; он умел проникнуться действительным уважением к ее уставам, умел с полунасмешливой важностью заниматься вздором и показать вид, что почитает всё важное за вздор; танцевал отлично, одевался по-английски. В короткое время он прослыл одним из самых любезных и ловких молодых людей в Петербурге. Паншин был действительно очень ловок, — не хуже отца; но он был также очень даровит. Всё ему удалось: он мило пел, бойко рисовал, писал стихи, весьма недурно играл на сцене. Ему всего пошел двадцать восьмой год, а он был уже камер-юнкером и чин имел весьма изрядный. Паншин твердо верил в себя, в свой ум, в свою проницательность; он шел вперед смело и весело, полным махом; жизнь его текла как по маслу. Он привык нравиться всем, старому и малому, и воображал, что знает людей, особенно женщин: он хорошо знал их обыденные слабости. Как человек чуждый художеству, он чувствовал в себе жар, и некоторое увлечение, и восторженность, и вследствие этого позволял себе разные отступления от правил: кутил, знакомился с лицами, не принадлежавшими к свету, и вообще держался вольно и просто; но в душе он был холоден и хитр, и во время самого буйного кутежа его умный карий глазок всё караулил и высматривал; этот смелый, этот свободный юноша никогда не мог забыть и увлечься вполне. К чести его должно сказать, что он никогда не хвастался своими победами. В дом Марьи Дмитриевны он попал тотчас по приезде в О... и скоро освоился в нем совершенно. Марья Дмитриевна в нем души не чаяла.

Паншин любезно раскланялся со всеми находившимися в комнате, пожал руку у Марьи Дмитриевны и у Лизаветы Михайловны, слегка потрепал Гедеоновского по плечу и, повернувшись на каблуках, поймал Леночку за голову и поцеловал ее в лоб.

— И вы не боитесь ездить на такой злой лошади? — спросила его Марья Дмитриевна.

— Помилуйте, она пресмирная; а вот, я доложу вам, чего я боюсь: я боюсь играть в преферанс с Сергеем Петровичем; вчера у Беленицких он обыграл меня в пух.

Гедеоновский засмеялся тоненьким и подобострастным смехом: он заискивал в молодом блестящем чиновнике из Петербурга, губернаторском любимце. В разговорах своих с Марьей Дмитриевной он часто упоминал о замечательных способностях Паншина. Ведь вот, рассуждал он, как не похвалить? И в высшей сфере жизни успевает

¹ прелестный малый (франц.).

молодой человек, и служит примерно, и гордости ни малейшей. Впрочем, Паншина и в Петербурге считали дельным чиновником: работа кипела у него в руках; он говорил о ней шутя, как оно и следует светскому человеку, не придающему особенного значения своим трудам, но был «исполнитель». Начальники любят таких подчиненных; сам он не сомневался в том, что, если захочет, будет со временем министром.

— Вы изволите говорить, что я обыграл вас, — промолвил Геденовский, — а на прошлой неделе кто у меня выиграл двенадцать рублей? да еще...

— Злодей, злодей, — перебил его Паншин с ласковой, но чуть-чуть презрительной небрежностью и, не обращая более на него внимания, подошел к Лизе.

— Я не мог найти здесь увертюру «Оберона», — начал он. — Беленицына только хвасталась, что у ней вся классическая музыка, — на деле у ней, кроме полек и вальсов, ничего нет; но я уже написал в Москву, и через неделю вы будете иметь эту увертюру. Кстати, — продолжал он, — я написал вчера новый романс; слова тоже мои. Хотите, я вам спою? Не знаю, что из этого вышло; Беленицына нашла его премиленьким, но ее слова ничего не значат, — я желаю знать ваше мнение. Впрочем, я думаю, лучше после.

— Зачем же после? — вмешалась Марья Дмитриевна, — отчего же не теперь?

— Слушаю-с, — промолвил Паншин с какой-то светлой и сладкой улыбкой, которая у него и появлялась и пропадала вдруг, — пододвинул коленом стул, сел за фортепьяно и, взявши несколько аккордов, запел, четко отделяя слова, следующий романс:

Луна плывет высоко над землею
 Меж бледных туч;
 Но движет с вышины волной морскою
 Волшебный луч.

Моей души тебя признало море
 Своей луной,
 И движется — и в радости и в горе —
 Тобой одной.

Тоской любви, тоской немых стремлений
 Душа полна;
 Мне тяжело... Но ты чужда смятений,
 Как та луна.

Второй куплет был спет Паншиным с особенным выражением и силой; в бурном аккомпанементе слышались переливы волн. После слов: «Мне тяжело...» — он вздохнул слегка, опустил глаза и понизил голос — *morendo*¹. Когда он кончил, Лиза похвалила мотив, Марья

¹ замирая (*итал.*).

Дмитриевна сказала: «Прелестно», а Гедеоновский даже крикнул: «Восхитительно! и поэзия, и гармония одинаково восхитительны!..» Леночка с детским благоговением посмотрела на певца. Словом, всем присутствовавшим очень понравилось произведение молодого дилетанта; но за дверью гостиной в передней стоял только что пришедший, уже старый человек, которому, судя по выражению его потупленного лица и движениям плечей, романс Паншина, хотя и премиленький, не доставил удовольствия. Подождав немного и смахнув пыль с сапогов толстым носовым платком, человек этот внезапно съежил глаза, угрюмо сжал губы, согнул свою, и без того сутулую, спину и медленно вошел в гостиную.

— А! Христофор Федорыч, здравствуйте! — воскликнул прежде всех Паншин и быстро вскочил со стула.

— Я и не подозревал, что вы здесь, — я бы при вас ни за что не решился спеть свой романс. Я знаю, вы не охотник до легкой музыки.

— Я не слушал, — произнес дурным русским языком вошедший человек и, раскланявшись со всеми, неловко остановился посреди комнаты.

— Вы, мосье Лемм, — сказала Марья Дмитриевна, — пришли дать урок музыки Лизе?

— Нет, не Лисафет Михайловне, а Елен Михайловне.

— А! Ну, что ж — прекрасно. Леночка, ступай наверх с господином Леммом.

Старик пошел было вслед за девочкой, но Паншин остановил его.

— Не уходите после урока, Христофор Федорыч, — сказал он, — мы с Лизаветой Михайловной сыграем бетговенскую сонату в четыре руки.

Старик проворчал себе что-то под нос, а Паншин продолжал по-немецки, плохо выговаривая слова:

— Мне Лизавета Михайловна показала духовную кантату, которую вы ей поднесли, — прекрасная вещь! Вы, пожалуйста, не думайте, что я не умею ценить серьезную музыку, — напротив: она иногда скучна, но зато очень пользительна.

Старик покраснел до ушей, бросил косвенный взгляд на Лизу и торопливо вышел из комнаты.

Марья Дмитриевна попросила Паншина повторить романс; но он объявил, что не желает оскорблять ушей ученого немца, и предложил Лизе заняться бетговенской сонатой. Тогда Марья Дмитриевна вздохнула и, с своей стороны, предложила Гедеоновскому пройтись с ней по саду. «Мне хочется, — сказала она, — еще поговорить и посоветоваться с вами о бедном нашем Феде». Гедеоновский осклабился, поклонился, взял двумя пальцами свою шляпу с аккуратно положенными на одном из ее полей перчатками и удалился вместе с Марьей Дмитриевной. В комнате остались Паншин и Лиза; она достала и раскрыла сонату; оба молча сели за фортепьяно. Сверху доносились слабые звуки гамм, разыгрываемых неверными пальчиками Леночки.

V

Христофор Теодор Готлиб Лемм родился в 1786 году, в королевстве Саксонском, в городе Хемнице, от бедных музыкантов. Отец его играл на валторне, мать на арфе; сам он уже по пятому году упражнялся на трех различных инструментах. Восьми лет он осиротел, а с десяти начал зарабатывать себе кусок хлеба своим искусством. Он долго вел бродячую жизнь, играл везде — и в трактирах, и на ярмарках, и на крестьянских свадьбах, и на балах; наконец попал в оркестр и, подвигаясь всё выше и выше, достиг дирижерского места. Исполнитель он был довольно плохой, но музыку знал основательно. На двадцать восьмом году переселился он в Россию. Его выписал большой барин, который сам терпеть не мог музыки, но держал оркестр из чванства. Лемм прожил у него лет семь в качестве капельмейстера и отошел от него с пустыми руками: барин разорился, хотел дать ему на себя вексель, но впоследствии отказал ему и в этом, — словом, не заплатил ему ни копейки. Ему советовали уехать; но он не хотел вернуться домой нищим из России, из великой России, этого золотого дна артистов; он решился остаться и испытать свое счастье. В течение двадцати лет бедный немец пытал свое счастье: побывал у различных господ, жил и в Москве, и в губернских городах, терпел и сносил многое, узнал нищету, бился как рыба об лед; но мысль о возвращении на родину не покидала его среди всех бедствий, которым он подвергался; она только одна его и поддерживала. Судьбе, однако, не было угодно порадовать его этим последним и первым счастьем: пятидесяти лет, большой, до времени одряхлевший, застрял он в городе О... и остался в нем навсегда, уже окончательно потеряв всякую надежду покинуть ненавистную ему Россию и кое-как поддерживая уроками свое скудное существование. Наружность Лемма не располагала в его пользу. Он был небольшого роста, сутуловат, с криво выдавшимися лопатками и втянутым животом, с большими плоскими ступнями, с бледно-синими ногтями на твердых, не разгибавшихся пальцах жилистых красных рук; лицо имел морщинистое, впалые щеки и сжатые губы, которыми он беспрестанно двигал и жевал, что, при его обычной молчаливости, производило впечатление почти зловещее; седые его волосы висели клоушьями над невысоким лбом; как только что залитые угольки, глухо тлели его крошечные, неподвижные глазки; ступал он тяжело, на каждом шагу перекидывая свое неповоротливое тело. Иные его движения напоминали неуклюжее охорашивание совы в клетке, когда она чувствует, что на нее глядят, а сама едва видит своими огромными, желтыми, пугливо и дремотно моргающими глазами. Застарелое, неумолимое горе положило на бедного музыкуса свою неизгладимую печать, искривило и обезобразило его и без того невзрачную фигуру; но для того, кто умел не останавливаться на первых впечатлениях, что-то доброе, честное, что-то необыкновенное виднелось в этом полуразрушенном существе. Поклонник Баха и Генделя, знаток своего дела,

одаренный живым воображением и той смелостью мысли, которая доступна одному германскому племени, Лемм со временем — кто знает? — стал бы в ряду великих композиторов своей родины, если бы жизнь иначе его повела; но не под счастливой звездой он родился! Он много написал на своем веку — и ему не удалось увидеть ни одного своего произведения изданным; не умел он приняться за дело как следовало, поклониться кстати, похлопотать вовремя. Как-то, давным-давно тому назад, один его поклонник и друг, тоже немец и тоже бедный, издал на свой счет две его сонаты, — да и те остались целиком в подвалах музыкальных магазинов; глухо и бесследно провалились они, словно их ночью кто в реку бросил. Лемм, наконец, махнул рукой на всё; притом и годы брали своё: он зачерствел, одеревенел, как пальцы его одеревенели. Один, с старой кухаркой, взятой им из богадельни (он никогда женат не был), проживал он в О... в небольшом домишке, недалеко от калитинского дома; много гулял, читал Библию, да собрание протестантских псалмов, да Шекспира в шлегелевском переводе. Он давно ничего не сочинял; но, видно, Лиза, лучшая его ученица, умела его расшевелить: он написал для нее кантату, о которой упомянул Паншин. Слова этой кантаты были им заимствованы из собрания псалмов; некоторые стихи он сам присочинил. Ее пели два хора — хор счастливых и хор несчастливцев; оба они к концу примирялись и пели вместе: «Боже милостивый, помилуй нас, грешных, и отжени от нас всякие лукавые мысли и земные надежды». На заглавном листе, весьма тщательно написанном и даже разрисованном, стояло: «Только праведные правы. Духовная кантата. Сочинена и посвящена девице Елизавете Калитиной, моей любезной ученице, ее учителем, Х. Т. Г. Леммом». Слова: «Только праведные правы» и «Елизавете Калитиной» были окружены лучами. Внизу было приписано: «Для вас одних, *fur Sie allein*». — Оттого-то Лемм и покраснел и взглянул искоса на Лизу; ему было очень больно, когда Паншин заговорил при нем об его кантате.

VI

Паншин громко и решительно взял первые аккорды сонаты (он играл вторую руку), но Лиза не начинала своей партии. Он остановился и посмотрел на нее. Глаза Лизы, прямо на него устремленные, выражали неудовольствие; губы ее не улыбались, всё лицо было строго, почти печально.

— Что с вами? — спросил он.

— Зачем вы не сдержали своего слова? — сказала она. — Я вам показала кантату Христофора Федорыча под тем условием, чтоб вы не говорили ему о ней.

— Виноват, Лизавета Михайловна, — к слову пришлось.

— Вы его огорчили — и меня тоже. Теперь он и мне доверять не будет.

— Что прикажете делать, Лизавета Михайловна? От молодых ногтей не могу видеть равнодушно немца: так и подмывает меня его подразнить.

— Что вы это говорите, Владимир Николаич! Этот немец — бедный, одинокий, убитый человек — и вам его не жаль? Вам хочется дразнить его?

Паншин смутился.

— Вы правы, Лизавета Михайловна, — промолвил он. — Всею виною — моя вечная необдуманность. Нет, не возражайте мне; я себя хорошо знаю. Много зла мне наделала моя необдуманность. По ее милости я прослыл за эгоиста.

Паншин помолчал. С чего бы ни начинал он разговор, он обыкновенно кончал тем, что говорил о самом себе, и это выходило у него как-то мило и мягко, задушевно, словно невольно.

— Вот и в вашем доме, — продолжал он, — матушка ваша, конечно, ко мне благоволит — она такая добрая; вы... впрочем, я не знаю вашего мнения обо мне; зато ваша тетушка просто меня терпеть не может. Я ее тоже, должно быть, обидел каким-нибудь необдуманным, глупым словом. Ведь она меня не любит, не правда ли?

— Да, — произнесла Лиза с небольшой запинкой, вы ей не нравитесь.

Паншин быстро провел пальцами по клавишам; едва заметная усмешка скользнула по его губам.

— Ну, а вы? — промолвил он, — я вам тоже кажусь эгоистом?

— Я вас еще мало знаю, — возразила Лиза, — но я вас не считаю за эгоиста; я, напротив, должна быть благодарна вам...

— Знаю, знаю, что вы хотите сказать, — перебил ее Паншин и снова пробежал пальцами по клавишам, — за ноты, за книги, которые я вам приношу, за плохие рисунки, которыми я украшаю ваш альбом, и так далее, и так далее. Я могу всё это делать — и все-таки быть эгоистом. Смею думать, что вы не скучаете со мною и что вы не считаете меня за дурного человека, но всё же вы полагаете, что я — как, бишь, это сказано? — для красного словца не пожалею ни отца, ни приятеля.

— Вы рассеянны и забывчивы, как все светские люди, — промолвила Лиза, — вот и всё.

Паншин немного нахмурился.

— Послушайте, — сказал он, — не будемте больше говорить обо мне; станемте разыгрывать нашу сонату. Об одном только прошу я вас, — прибавил он, разглаживая рукою листы лежавшей на пиюпитре тетради, — думайте обо мне что хотите, называйте меня даже эгоистом — так и быть! но не называйте меня светским человеком: эта кличка мне нестерпима... Anch'io sono pittore¹. Я тоже артист, хотя плохой, и

¹ Я тоже художник (*итал.*).

это, а именно то, что я плохой артист, — я вам докажу сейчас же на деле. Начнем же.

— Начнем, пожалуй, — сказала Лиза.

Первое *adagio* прошло довольно благополучно, хотя Паншин неоднократно ошибался. Свое и заученное он играл очень мило, но разбирал плохо. Зато вторая часть сонаты — довольно быстрое *allegro* — совсем не пошла: на двадцатом такте Паншин, оставший такта на два, не выдержал и со смехом отодвинул свой стул.

— Нет! — воскликнул он, — я не могу сегодня играть; хорошо, что Лемм нас не слышал; он бы в обморок упал.

Лиза встала, закрыла фортепьяно и обернулась к Паншину.

— Что же мы будем делать? — спросила она.

— Узнаю вас в этом вопросе! Вы никак не можете сидеть сложа руки. Что ж, если хотите, давайте рисовать, пока еще не совсем стемнело. Авось другая муза — муза рисования — как, бишь, ее звали? позабыл... будет ко мне благосклоннее. Где ваш альбом? Помнится, там мой пейзаж не кончен.

Лиза пошла в другую комнату за альбомом, а Паншин, оставшись один, достал из кармана батистовый платок, потер себе ногти и посмотрел, как-то скосясь, на свои руки. Они у него были очень красивы и белы; на большом пальце левой руки носил он винтообразное золотое кольцо. Лиза вернулась; Паншин уселся к окну, развернул альбом.

— Ага! — воскликнул он, — я вижу, вы начали срисовывать мой пейзаж — и прекрасно. Очень хорошо! Вот тут только — дайте-ка карандаш — не довольно сильно положены тени. Смотрите.

И Паншин размашисто проложил несколько длинных штрихов. Он постоянно рисовал один и тот же пейзаж: на первом плане большие растрепанные деревья, в отдаленье поляну и зубчатые горы на небосклоне. Лиза глядела через его плечо на его работу.

— В рисунке, да и вообще в жизни, — говорил Паншин, сгибая голову то направо, то налево, — легкость и смелость — первое дело.

В это мгновение вошел в комнату Лемм и, сухо поклонившись, хотел удалиться; но Паншин бросил альбом и карандаш в сторону и преградил ему дорогу.

— Куда же вы, любезный Христофор Федорыч? Разве вы не остаетесь чай пить?

— Мне домой, — проговорил Лемм угрюмым голосом, — голова болит.

— Ну, что за пустяки, — останьтесь. Мы с вами поспорим о Шекспире.

— Голова болит, — повторил старик.

— А мы без вас принялись было за бетговенскую сонату, — продолжал Паншин, любезно взяв его за талию и светло улыбаясь, — но дело совсем на лад не пошло. Вообразите, я не мог две ноты сряду взять верно.

НАКАНУНЕ

I

В тени высокой липы, на берегу Москвы-реки, недалеко от Кунцева, в один из самых жарких летних дней 1853 года лежали на траве два молодых человека. Один, на вид лет двадцати трех, высокого роста, черномазый, с острым и немного кривым носом, высоким лбом и сдержанною улыбкой на широких губах, лежал на спине и задумчиво глядел вдаль, слегка прищулив свои небольшие серые глазки; другой лежал на груди, подперев обеими руками кудрявую белокурую голову, и тоже глядел куда-то вдаль. Он был тремя годами старше своего товарища, но казался гораздо моложе; усы его едва пробились и на подбородке вился легкий пух. Было что-то детски-миловидное, что-то привлекательно изящное в мелких чертах его свежего, круглого лица, в его сладких карих глазах, красивых выпуклых губках и белых ручках. Всё в нем дышало счастливою веселостью здоровья, дышало молодостью — беспечностью, самонадеянностью, избалованностью, прелестью молодости. Он и поводил глазами, и улыбался, и подпирал голову, как это делают мальчики, которые знают, что на них охотно заглядываются. На нем было просторное белое пальто вроде блузы; голубой платок охватывал его тонкую шею, измятая соломенная шляпа валялась в траве возле него.

В сравнении с ним его товарищ казался стариком, и никто бы не подумал, глядя на его угловатую фигуру, что и он наслаждается, что и ему хорошо. Он лежал неловко; его большая, сверху широкая, книзу заостренная голова неловко сидела на длинной шее; неловкость сказывалась в самом положении его рук, его туловища, плотно охваченного коротким черным сюртучком, его длинных ног с поднятыми коленями, подобных задним ножкам стрекозы. Со всем тем нельзя было не признать в нем хорошо воспитанного человека; отпечаток «порядочности» замечался во всем его неуклюжем существе, и лицо его, некрасивое и даже несколько смешное, выражало привычку мыслить и доброту. Звали его Андреем Петровичем Берсеневым; его товарищ, белокурый молодой человек, прозывался Шубиным, Павлом Яковлевичем.

— Отчего ты не лежишь, как я, на груди? — начал Шубин. — Так гораздо лучше. Особенно когда поднимешь ноги и стучишь каблуками

дружку о дружку — вот так. Трава под носом: надоест глазеть на пейзаж — смотри на какую-нибудь пузатую козявку, как она ползет по былинке, или на муравья, как он суетится. Право, так лучше. А то ты принял теперь какую-то псевдоклассическую позу, ни дать ни взять танцовщица в балете, когда она облакачивается на картонный утес. Ты вспомни, что ты теперь имеешь полное право отдыхать. Шутка сказать: вышел третьим кандидатом! Отдохните, сэр; перестаньте напрягаться, раскиньте свои члены!

Шубин произнес всю эту речь в нос, полулениво, полушутливо (балованные дети говорят так с друзьями дома, которые привозят им конфекты), и, не дождавшись ответа, продолжал:

— Меня больше всего поражает в муравьях, жуках и других господах насекомых их удивительная серьезность; бегают взад и вперед с такими важными физиономиями, точно и их жизнь что-то значит! Помилуйте, человек, царь создания, существо высшее, на них взирает, а им и дела до него нет; еще, пожалуй, иной комар сядет на нос царю создания и станет употреблять его себе в пищу. Это обидно. А с другой стороны, чем их жизнь хуже нашей жизни? И отчего же им не важничать, если мы позволяем себе важничать? Ну-ка, философ, разреши мне эту задачу! Что ж ты молчишь? А?

— Что? — проговорил, встрепенувшись, Берсенеv.

— Что! — повторил Шубин. — Твой друг излагает перед тобою глубокие мысли, а ты его не слушаешь.

— Я любовался видом. Посмотри, как эти поля горячо блестят на солнце! (Берсенеv немного пришепетывал.)

— Важный пуштен кóлер, — промолвил Шубин. — Одно слово, натура!

Берсенеv покачал головой.

— Тебе бы еще больше меня следовало восхищаться всем этим. Это по твоей части: ты артист.

— Нет-с; это не по моей части-с, — возразил Шубин и надел шляпу на затылок. — Я мясник-с; мое дело — мясо, мясо лепить, плечи, ноги, руки, а тут и формы нет, законченности нет, разъехалось во все стороны... Пойди поймай!

— Да ведь и тут красота, — заметил Берсенеv. — Кстати, кончил ты свой барельеф?

— Какой?

— Ребенка с козлом.

— К чёрту! к чёрту! к чёрту! — воскликнул нараспев Шубин. — Посмотрел на настоящих, на стариков, на антики, да и разбил свою чепуху. Ты указываешь мне на природу и говоришь: «И тут красота». Конечно, во всем красота, даже и в твоём носе красота, да за всякую красотой не угоняешься. Старики — те за ней и не гонялись; она сама сходила в их создания, откуда — бог весть, с неба, что ли. Им весь мир принадлежал; нам так широко распространяться не приходится: ко-

ротки руки. Мы закидываем удочку на одной точке, да и караулим. Ключет — браво! а не ключет...

Шубин высунул язык.

— Постой, постой, — возразил Берсенев. — Это парадокс. Если ты не будешь сочувствовать красоте, любить ее всюду, где бы ты ее ни встретил, так она тебе и в твоём искусстве не дастся. Если прекрасный вид, прекрасная музыка ничего не говорят твоей душе, я хочу сказать, если ты им не сочувствуешь...

— Эх ты, сочувственник! — брякнул Шубин и сам засмеялся новоизобретенному слову, а Берсенев задумался. — Нет, брат, — продолжал Шубин, — ты умница, философ, третий кандидат Московского университета, с тобой спорить страшно, особенно мне, недоучившемуся студенту; но я тебе вот что скажу: кроме своего искусства, я люблю красоту только в женщинах... в девушках, да и то с некоторых пор...

Он перевернулся на спину и заложил руки за голову.

Несколько мгновений прошло в молчании. Тишина полуденного зноя тяготела над сияющей и заснувшей землей.

— Кстати, о женщинах, — заговорил опять Шубин. — Что это никто не возьмет Стахова в руки? Ты видел его в Москве?

— Нет.

— Совсем с ума сошел старец. Сидит по целым дням у своей Августины Христиановны, скучает страшно, а сидит. Глазеют друг на друга, так глупо... Даже противно смотреть. Вот поди ты! Каким семейством Бог благословил этого человека: нет, подай ему Августину Христиановну! Я ничего не знаю гнуснее ее утиной физиономии! На днях я вылепил ее карикатуру, в дантановском вкусе. Очень вышло недурно. Я тебе покажу.

— А Елены Николаевны бюст, — спросил Берсенев, — подвигается?

— Нет, брат, не подвигается. От этого лица можно в отчаяние прийти. Посмотришь, линии чистые, строгие, прямые; кажется, нетрудно схватить сходство. Не тут-то было... Не дается, как клад в руки. Заметил ты, как она слушает? Ни одна черта не тронется, только выражение взгляда беспрестанно меняется, а от него меняется вся фигура. Что тут прикажешь делать скульптору, да еще плохому? Удивительное существо... странное существо, — прибавил он после короткого молчания.

— Да; она удивительная девушка, — повторил за ним Берсенев.

— А дочь Николая Артемьевича Стахова! Вот после этого и рассуждай о крови, о породе. И ведь забавно то, что она точно его дочь, похожа на него и на мать похожа, на Анну Васильевну. Я Анну Васильевну уважаю от всего сердца, она же моя благодетельница; но ведь она курица. Откуда же взялась эта душа у Елены? Кто зажег этот огонь? Вот опять тебе задача, философ!

Но «философ» по-прежнему ничего не отвечал. Берсенев вообще не грешил многоглаголением и, когда говорил, выражался неловко, с

запинками, без нужды разводя руками; а в этот раз какая-то особенная тишина нашла на его душу, — тишина, похожая на усталость и на грусть. Он недавно переселился за город после долгой и трудной работы, отнимавшей у него по несколько часов в день. Бездействие, нега и чистота воздуха, сознание достигнутой цели, прихотливый и небрежный разговор с приятелем, внезапно вызванный образ милого существа — все эти разнородные и в то же время почему-то сходные впечатления слились в нем в одно общее чувство, которое и успокаивало его, и волновало, и обессиливало... Он был очень нервический молодой человек.

Под липой было прохладно и спокойно; залетавшие в круг ее тени мухи и пчелы, казалось, жужжали тише; чистая мелкая трава изумрудного цвета, без золотых отливов, не колыхалась; высокие стебельки стояли неподвижно, как очарованные; как очарованные, как мертвые, висели маленькие гроздья желтых цветов на нижних ветках липы. Сладкий запах с каждым дыханием втеснялся в самую глубь груди, но грудь им охотно дышала. Вдали, за рекой, до небосклона всё сверкало, всё горело; изредка пробежал там ветерок и дробил и усиливал сверканье; лучистый пар колебался над землей. Птиц не было слышно: они не поют в часы зноя; но кузнечики трещали повсеместно, и приятно было слушать этот горячий звук жизни, сидя в прохладе, на покое: он клонил ко сну и будил мечтания.

— Заметил ли ты, — начал, вдруг Берсенеv, помогая своей речи движениями рук, — какое странное чувство возбуждает в нас природа? Всё в ней так полно, так ясно, я хочу сказать, так удовлетворено собою, и мы это понимаем и любимся этим, и в то же время она, по крайней мере во мне, всегда возбуждает какое-то беспокойство, какую-то тревогу, даже грусть. Что это значит? Сильнее ли сознаем мы перед нею, перед ее лицом, всю нашу неполноту, нашу неясность, или же нам мало того удовлетворения, каким она довольствуется, а другого, то есть я хочу сказать, того, чего нам нужно, у нее нет?

— Гм, — возразил Шубин, — я тебе скажу, Андрей Петрович, отчего всё это происходит. Ты описал ощущения одинокого человека, который не живет, а только смотрит да млеет. Чего смотреть? Живи сам и будешь молодцом. Сколько ты ни стучись природе в дверь, не отзовется она понятным словом, потому что она немая. Будет звучать и ныть, как струна, а песни от нее не жди. Живая душа — та отзовется, и по преимуществу женская душа. А потому, благородный друг мой, советую тебе запастись подругой сердца, и все твои тоскливые ощущения тотчас исчезнут. Вот что нам «нужно», как ты говоришь. Ведь эта тревога, эта грусть, ведь это просто своего рода голод. Дай желудку настоящую пищу, и всё тотчас придет в порядок. Займи свое место в пространстве, будь телом, братец ты мой. Да и что такое, к чему природа? Ты послушай сам: любовь... какое сильное, горячее слово! Природа... какое холодное, школьное выражение! А потому (Шубин за-

пел): «Да здравствует Марья Петровна!» — или нет, — прибавил он, — не Марья Петровна, ну да всё равно! Вы же компренё¹.

Берсенеv приподнялся и оперся подбородком на сложенные руки.

— Зачем насмешка, — проговорил он, не глядя на своего товарища, — зачем глумление? Да, ты прав: любовь — великое слово, великое чувство... Но о какой любви говоришь ты?

Шубин тоже приподнялся.

— О какой любви? О какой угодно, лишь бы она была налицо. Признаюсь тебе, по-моему, вовсе нет различных родов любви. Коли ты полюбил...

— От всей души, — подхватил Берсенеv.

— Ну да, это само собой разумеется, душа не яблоко: ее не разделишь. Коли ты полюбил, ты и прав, а я не думал глумиться. У меня на сердце теперь такая нежность, так оно смягчено... Я хотел только объяснить, почему природа, по-твоему, так на нас действует. Потому, что она будит в нас потребность любви и не в силах удовлетворить ее. Она нас тихо гонит в другие, живые объятия, а мы ее не понимаем и чего-то ждем от нее самой. Ах, Андрей, Андрей, прекрасно это солнце, это небо, всё, всё вокруг нас прекрасно, а ты грустишь; но если бы в это мгновение ты держал в своей руке руку любимой женщины, если бы эта рука и вся эта женщина были твои, если бы ты даже глядел ее глазами, чувствовал не своим, одиноким, а ее чувством, — не грусть, Андрей, не тревогу возбуждала бы в тебе природа, и не стал бы ты замечать ее красоты; она бы сама радовалась и пела, она бы вторила твоему гимну, потому что ты в нее, в немую, вложил бы тогда язык!

Шубин вскочил на ноги и прошелся раза два взад и вперед, а Берсенеv наклонил голову, и лицо его покрылось слабой краской.

— Я не совсем согласен с тобою, — начал он, — не всегда природа намекает нам на... любовь. (Он не сразу произнес это слово.) Она также грозит нам; она напоминает о страшных... да, о недоступных тайнах. Не она ли должна поглотить нас, не беспрестанно ли она поглощает нас? В ней и жизнь и смерть; и смерть в ней так же громко говорит, как и жизнь.

— И в любви жизнь и смерть, — перебил Шубин.

— А потом, — продолжал Берсенеv, — когда я, например, стою весной в лесу, в зеленой чаще, когда мне чудятся романтические звуки Оберонова рога (Берсенеvu стало немножко совестно, когда он выговорил эти слова), — разве и это...

— Жажда любви, жажда счастья, больше ничего! — подхватил Шубин. — Знаю и я эти звуки, знаю и я то умиление и ожидание, которые находят на душу под сенью леса, в его недрах, или вечером, в открытых полях, когда заходит солнце и река дымится за кустами. Но и от леса, и от реки, и от земли, и от неба, от всякого облачка, от всякой травки я жду, я хочу счастья, я во всем чую его приближение, слышу

¹ Вы меня понимаете (Vous me comprenez — франц.).

его призыв! «Мой бог — бог светлый и веселый!» Я было так начал одно стихотворение; сознайся: славный первый стих, да второго никак подобрать не мог. Счастья! счастья! пока жизнь не прошла, пока все наши члены в нашей власти, пока мы идем не под гору, а в гору! Чёрт возьми! — продолжал Шубин с внезапным порывом, — мы молоды, не уроды, не глупы: мы завоюем себе счастье!

Он встряхнул кудрями и самоуверенно, почти с вызовом, глянул вверх, на небо. Берсенов поднял на него глаза.

— Будто нет ничего выше счастья? — проговорил он тихо.

— А например? — спросил Шубин и остановился,

— Да вот, например, мы с тобой, как ты говоришь, молодые, мы хорошие люди, положим; каждый из нас желает для себя счастья... Но такое ли это слово «счастье», которое соединило, воспламенило бы нас обоих, заставило бы нас подать друг другу руки? Не эгоистическое ли, я хочу сказать, не разъединяющее ли это слово?

— А ты знаешь такие слова, которые соединяют?

— Да; и их не мало; и ты их знаешь.

— Ну-ка? какие это слова?

— Да хоть бы искусство, — так как ты художник, — родина, наука, свобода, справедливость.

— А любовь? — спросил Шубин.

— И любовь соединяющее слово; но не та любовь, которой ты теперь жаждешь: не любовь-наслаждение, любовь-жертва.

Шубин нахмурился.

— Это хорошо для немцев; а я хочу любить для себя; я хочу быть номером первым.

— Номером первым, — повторил Берсенов. — А мне кажется, поставить себя номером вторым — всё назначение нашей жизни.

— Если все так будут поступать, как ты советуешь, — промолвил с жалобною гримасой Шубин, — никто на земле не будет есть ананасов: все другим их предоставлять будут.

— Значит, ананасы не нужны; а впрочем, не бойся: всегда найдутся любители даже хлеб от чужого рта отнимать.

Оба приятеля помолчали.

— Я на днях опять встретил Инсарова, — начал Берсенов, — я пригласил его к себе; я непременно хочу познакомить его с тобой... и с Стаховыми.

— Какой это Инсаров? Ах, да, этот серб или болгар, о котором ты мне говорил? Патриот этот? Уж не он ли внушил тебе все эти философские мысли?

— Может быть.

— Необыкновенный он индивидуум, что ли?

— Да.

— Умный? Даровитый?

— Умный?... Да. Даровитый? Не знаю, не думаю.

— Нет? Что же в нем замечательного?

— Вот увидишь. А теперь, я думаю, нам пора идти. Анна Васильевна нас, чай, дожидается. Который-то час?

— Третий. Пойдем. Как душно! Этот разговор во мне всю кровь зажег. И у тебя была минута... я недаром артист: я на всё заметлив. Признайся, занимает тебя женщина?...

Шубин хотел заглянуть в лицо Берсеневу, но он отвернулся и вышел из-под липы. Шубин отправился вслед за ним, развалисто-грациозно переступая своими маленькими ножками. Берсенев двигался неуклюже, высоко поднимал на ходу плечи, вытягивал шею; а все-таки он казался более порядочным человеком, чем Шубин, более джентльменом, сказали бы мы, если б это слово не было у нас так опошлено.

II

Молодые люди спустились к Москве-реке и пошли вдоль ее берега. От воды веяло свежестью, и тихий плеск небольших волн ласкал слух.

— Я бы опять выкупался, — заговорил Шубин, — да боюсь опоздать. Посмотри на реку: она словно нас манит. Древние греки в ней признали бы нимфу. Но мы не греки, о нимфа! мы толстокожие скифы.

— У нас есть русалки, — заметил Берсенев.

— Поди ты с своими русалками! На что мне, ваятелю, эти исчадия запуганной, холодной фантазии, эти образы, рожденные в духоте избы, во мраке зимних ночей? Мне нужно света, простора... Когда же, боже мой, поеду я в Италию? Когда...

— То есть, ты хочешь сказать, в Малороссию?

— Стыдно тебе, Андрей Петрович, упрекать меня в необдуманной глупости, в которой я и без того горько раскаиваюсь. Ну да, я поступил, как дурак: добрейшая Анна Васильевна дала мне денег на поездку в Италию, а я отправился к хохлам, есть галушки, и...

— Не договаривай, пожалуйста, — перебил Берсенев.

— И все-таки я скажу, что эти деньги не были истрачены даром. Я увидел там такие типы, особенно женские... Конечно, я знаю: вне Италии нет спасения!

— Ты поедешь в Италию, — проговорил Берсенев, не оборачиваясь к нему, — и ничего не сделаешь. Будешь всё только крыльями размахивать и не полетишь. Знаем мы вас!

— Ставсер полетел же... И не он один. А не полечу — значит, я пингвин морской, без крыльев. Мне душно здесь, в Италию хочу, — продолжал Шубин, — там солнце, там красота...

Молодая девушка, в широкой соломенной шляпе, с розовым зонтиком на плече, показалась в это мгновение на тропинке, по которой шли приятели.

— Но что я вижу? И здесь к нам навстречу идет красота! Привет смиренного художника очаровательной Зое! — крикнул вдруг Шубин, театально размахнув шляпой.

Молодая девушка, к которой относилось это восклицание, остановилась, погрозила ему пальцем и, допустив до себя обоих приятелей, проговорила звонким голоском и чуть-чуть картавя:

— Что же вы это, господа, обедать не идете? Стол накрыт.

— Что я слышу? — заговорил, всплеснув руками, Шубин. — Неужели вы, восхитительная Зоя, в такую жару решились идти нас отыскивать? Так ли я должен понять смысл вашей речи? Скажите, неужели? Или нет, лучше не произносите этого слова: раскаяние убьет меня мгновенно.

— Ах, перестаньте, Павел Яковлевич, — возразила не без досады девушка, — отчего вы никогда не говорите со мной серьезно? Я рассержусь, — прибавила она с кокетливой ужимкой и надула губки.

— Вы не рассердитесь на меня, идеальная Зоя Никитишна; вы не захотите повергнуть меня в мрачную бездну испуганного отчаяния. А серьезно я говорить не умею, потому что я не серьезный человек.

Девушка пожала плечом и обратилась к Берсеневу.

— Вот он всегда так: обходится со мной, как с ребенком; а мне уж восемнадцать лет минуло. Я уже большая.

— О, боже! — простонал Шубин и закатил глаза под лоб, а Берснев усмехнулся молча.

Девушка топнула ножкой.

— Павел Яковлевич! Я рассержусь! Hélène пошла было со мною, — продолжала она, — да осталась в саду. Ее жара испугала, но я не боюсь жары. Пойдемте.

Она отправилась вперед по тропинке, слегка раскачивая свой тонкий стан при каждом шаге и откидывая хорошенькою ручкой, одетой в черную митенку, мягкие длинные локоны от лица.

Приятель пошел за нею (Шубин то безмолвно прижимал руки к сердцу, то поднимал их выше головы) и несколько мгновений спустя очутился перед одною из многочисленных дач, окружающих Кунцево. Небольшой деревянный домик с мезонином, выкрашенный розовою краской, стоял посреди сада и как-то наивно выглядывал из-за зелени деревьев. Зоя первая открыла калитку, вбежала в сад и закричала: «Привела скитальцев!» Молодая девушка с бледным и выразительным лицом поднялась со скамейки близ дорожки, а на пороге дома показалась дама в лиловом шёлковом платье и, подняв вышитый батистовый платок над головой для защиты от солнца, улыбнулась томно и вяло.

III

Анна Васильевна Стахова, урожденная Шубина, семи лет осталась круглой сиротою и наследницей довольно значительного имения. У нее были родственники очень богатые и очень бедные — бедные по отцу, богатые по матери: сенатор Волгин, князя Чикурасовы. Князь

Ардалион Чикурасов, назначенный к ней опекуном, поместил ее в лучший московский пансион, а по выходе ее из пансиона взял ее к себе в дом. Он жил открыто и давал зимой балы. Будущий муж Анны Васильевны, Николай Артемьевич Стахов, завоевал ее на одном из этих балов, где она была в «прелестном розовом платье с куафюрой из маленьких роз». Она берегла эту куафюру... Николай Артемьевич Стахов, сын отставного капитана, раненного в двенадцатом году и получившего доходное место в Петербурге, шестнадцати лет поступил в юнкерскую школу и вышел в гвардию. Он был красив собою, хорошо сложен и считался едва ли не лучшим кавалером на вечеринках средней руки, которые посещал преимущественно: в большой свет ему не было дороги. Смолоду его занимали две мечты: попасть в флигель-адъютанты и выгодно жениться; с первой мечтой он скоро расстался, но тем крепче держался за вторую. Вследствие этого он каждую зиму ездил в Москву. Николай Артемьевич порядочно говорил по-французски и слыл философом, потому что не кутил. Будучи только прапорщиком, он уже любил настойчиво поспорить, например, о том, можно ли человеку в течение всей своей жизни объездить весь земной шар, можно ли ему знать, что происходит на дне морском, — и всегда держался того мнения, что нельзя.

Николаю Артемьевичу минуло двадцать пять лет, когда он «подцепил» Анну Васильевну; он вышел в отставку и поехал в деревню хозяйничать. Деревенское житье ему скоро надоело, имение же было оброчное; он поселился в Москве, в доме жены. В молодости он ни в какие игры не играл, а тут пристрастился к лото, а когда запретили лото, к ералашу. Дома он скучал; сошелся со вдовой немецкого происхождения и проводил у ней почти всё время. На лето 53-го года он не переехал в Кунцево: он остался в Москве, будто бы для того, чтобы пользоваться минеральными водами; в сущности, ему не хотелось расстаться с своею вдовой. Впрочем, он и с ней разговаривал мало, а также больше спорил о том, можно ли предвидеть погоду и т. д. Раз кто-то назвал его *frondeur*; это название очень ему понравилось. «Да, — думал он, самодовольно опуская углы губ и покачиваясь, — меня удовлетворить не легко; меня не надуешь». Фрондерство Николая Артемьевича состояло в том, что он услышит, например, слово «нервы» и скажет: «А что такое нервы?» — или кто-нибудь упомянет при нем об успехах астрономии, а он скажет: «А вы верите в астрономию?» Когда же он хотел окончательно сразить противника, он говорил: «Всё это одни фразы». Должно сознаться, что многим лицам такого рода возражения казались (и до сих пор кажутся) неопровержимыми; но Николай Артемьевич никак не подозревал того, что Августина Христиановна в письмах к своей кузине, Феодолинде Петерзилиус, называла его: *Mein Pinselchen*¹.

Жена Николая Артемьевича, Анна Васильевна, была маленькая и худенькая женщина, с тонкими чертами лица, склонная к волнению и

¹ Мой дурачок (нем.).

грусти. В пансионе она занималась музыкой и читала романы, потом всё это бросила; стала рядиться, и это оставила; занялась было воспитанием дочери, и тут ослабела и передала ее на руки к гувернантке; кончилось тем, что она только и делала что грустила и тихо волновалась. Рождение Елены Николаевны расстроило ее здоровье, и она уже не могла более иметь детей; Николай Артемьевич намекал на это обстоятельство, оправдывая свое знакомство с Августиной Христиановной. Неверность мужа очень огорчала Анну Васильевну; особенно больно ей было то, что он однажды обманом подарил своей немке пару серых лошадей с ее, Анны Васильевны, собственного завода. В глаза она его никогда не упрекала, но украдкой жаловалась на него поочередно всем в доме, даже дочери. Анна Васильевна не любила выезжать; ей было приятно, когда у ней сидел гость и рассказывал что-нибудь; в одиночестве она тотчас занемогала. Сердце у ней было очень любящее и мягкое: жизнь ее скоро перемолола.

Павел Яковлевич Шубин доводился ей троюродным племянником. Отец его служил в Москве. Братья его поступили в кадетские корпуса; он был самый младший, любимец матери, нежного телосложения: он остался дома. Его назначали в университет и с трудом подерживали в гимназии. С ранних лет начал он оказывать склонность к ваянию, тяжеловесный сенатор Волгин увидал однажды одну его статуэтку у его тетки (ему было тогда лет шестнадцать) и объявил, что намерен покровительствовать юному таланту. Внезапная смерть отца Шубина чуть было не изменила всей будущности молодого человека. Сенатор, покровитель талантов, подарил ему гипсовый бюст Гомера — и только; но Анна Васильевна помогла ему деньгами, и он, с грехом пополам, девятнадцати лет поступил в университет, на медицинский факультет. Павел не чувствовал никакого расположения к медицине, но, по существовавшему в то время штату студентов, ни в какой другой факультет поступить было невозможно; притом он надеялся поучиться анатомии. Но он не выучился анатомии; на второй курс он не перешел и, не дождавшись экзамена, вышел из университета с тем, чтобы посвятить себя исключительно своему призванию. Он трудился усердно, но урывками; скитался по окрестностям Москвы, лепил и рисовал портреты крестьянских девок, сходил с разными лицами, молодыми и старыми, высокого и низкого полета, итальянскими формовщиками и русскими художниками, слышать не хотел об академии и не признавал ни одного профессора. Талантом он обладал положительным, — его начали знать по Москве. Мать его, парижанка родом, хорошей фамилии, добрая и умная женщина, выучила его по-французски, хлопотала и заботилась о нем денно и ночью, гордилась им и, умирая еще в молодых летах от чахотки, упростила Анну Васильевну взять его к себе на руки. Ему тогда уже пошел двадцать первый год. Анна Васильевна исполнила ее последнее желание: он занимал небольшую комнатку во флигеле дачи.

IV

— Пойдемте же кушать, пойдемте, — проговорила жалостным голосом хозяйка, и все отправились в столовую. — Сядьте подле меня, Zoé, — промолвила Анна Васильевна, — а ты, Héléne, займи гостя, а ты, Paul, пожалуйста, не шали и не дразни Zoé. У меня голова болит сегодня.

Шубин опять возвел глаза к небу; Zoé ответила ему полуулыбкой. Эта Zoé, или, говоря точнее, Зоя Никитишна Мюллер, была миленькая, немного косенькая русская немочка с раздвоенным на конце носиком и красными крошечными губками, белокурая, пухленькая. Она очень недурно пела русские романсы, чистенько разыгрывала на фортепьяно разные то веселенькие, то чувствительные штучки; одевалась со вкусом, но как-то по-детски и уже слишком опрятно. Анна Васильевна взяла ее в компаньонки к своей дочери и почти постоянно держала ее при себе. Елена на это не жаловалась: она решительно не знала, о чем ей говорить с Зоей, когда ей случалось остаться с ней наедине.

Обед продолжался довольно долго; Берсенеv разговаривал с Еленой об университетской жизни, о своих намерениях и надеждах; Шубин прислушивался и молчал, ел с преувеличенною жадностью, изредка бросая комически унылые взоры на Зою, которая отвечала ему все тою же флегматической улыбкой. После обеда Елена с Берсеневым и Шубиным отправились в сад; Зоя посмотрела им вслед и, слегка пожав плечиком, села за фортепьяно. Анна Васильевна проговорила было: «Отчего же вы не идете тоже гулять?» — но, не дождавшись ответа, прибавила: «Сыграйте мне что-нибудь такое грустное...»

— «La dernière pensée» de Weber?¹ — спросила Зоя.

— Ах да, Вебера, — промолвила Анна Васильевна, опустилась в кресла, и слеза навернулась на ее ресницу.

Между тем Елена повела обоих приятелей в беседку из акаций, с деревянным столиком посередине и скамейками вокруг. Шубин оглянулся, подпрыгнул несколько раз и, промолвив шёпотом: «Подождите!», сбегал к себе в комнату, принес кусок глины и начал лепить фигуру Зои, покачивая головой, бормоча и посмеиваясь.

— Опять старые шутки, — произнесла Елена, взглянув на его работу, и обратилась к Берсенеvu, с которым продолжала разговор, начатый за обедом.

— Старые шутки, — повторил Шубин. — Предмет-то больно неистощимый! Сегодня особенно она меня из терпения выводит.

— Это почему? — спросила Елена. — Подумаешь, вы говорите о какой-нибудь злой, неприятной старухе. Хорошенькая, молоденькая девочка...

— Конечно, — перебил Шубин, — она хорошенькая, очень хорошенькая; я уверен, что всякий прохожий, взглянув на нее, непременно

¹ «Последнюю думу» Вебера? (франц.).

но должен подумать: вот бы с кем отлично... польку протанцевать; я также уверен, что она это знает и что это ей приятно... К чему же эти стыдливые ужимки, эта скромность? Ну, да вам известно, что я хочу сказать, — прибавил он сквозь зубы. — Впрочем, вы теперь другим заняты.

И, сломив фигуру Зои, Шубин принялся торопливо и словно с досадой лепить и мять глину.

— Итак, вы желали бы быть профессором? — спросила Елена Берсенева.

— Да, — возразил тот, втискивая между колен свои красные руки. — Это моя любимая мечта. Конечно, я очень хорошо знаю всё, чего мне недостает для того, чтобы быть достойным такого высокого... Я хочу сказать, что я слишком мало подготовлен, но я надеюсь получить позволение съездить за границу; пробуду там три-четыре года, если нужно, и тогда...

Он остановился, потупился, потом быстро вскинул глаза и, неловко улыбаясь, поправил волосы. Когда Берснев говорил с женщиной, речь его становилась еще медлительнее и он еще более пришепetyвал.

— Вы хотите быть профессором истории? — спросила Елена.

— Да, или философии, — прибавил он, понизив голос, — если это будет возможно.

— Он уже теперь силен, как чёрт, в философии, — заметил Шубин, проводя глубокие черты ногтем по глине, — на что ему за границу ездить?

— И вы будете вполне довольны вашим положением? — спросила Елена, подпершись локтем и глядя ему прямо в лицо.

— Вполне, Елена Николаевна, вполне. Какое же может быть лучше призвание? Помилуйте, пойти по следам Тимофея Николаевича... Одна мысль о подобной деятельности наполняет меня радостью и смущением, да... смущением, которого... которое происходит от сознания моих малых сил. Покойный батюшка благословил меня на это дело... Я никогда не забуду его последних слов.

— Ваш батюшка скончался нынешнею зимой?

— Да, Елена Николаевна, в феврале.

— Говорят, — продолжала Елена, — он оставил замечательное сочинение в рукописи; правда ли это?

— Да, оставил. Это был чудесный человек. Вы бы полюбили его, Елена Николаевна.

— Я в этом уверена. А какое содержание этого сочинения?

— Содержание этого сочинения, Елена Николаевна, передать вам в немногих словах несколько трудно. Мой отец был человек очень ученый, шеллингианец, он употреблял выражения не всегда ясные...

— Андрей Петрович, — перебила его Елена, — извините мое невежество, что такое значит: шеллингианец?

Берснев слегка улыбнулся.

ОТЦЫ И ДЕТИ

I

— Что, Петр, не видать еще? — спрашивал 20-го мая 1859 года, выходя без шапки на низкое крылечко постоялого двора на шоссе, барин лет сорока с небольшим, в запыленном пальто и клетчатых панталонах, у своего слуги, молодого и щекастого малого с беловатым пухом на подбородке и маленькими тусклыми глазенками.

Слуга, в котором всё: и бирюзовая сережка в ухе, и напوماженные разноцветные волосы, и учтивые телодвижения, словом, всё изобличало человека новейшего, усовершенствованного поколения, посмотрел снисходительно вдоль дороги и отвечивал: «Никак нет-с, не видать».

— Не видать? — повторил барин.

— Не видать, — вторично отвечивал слуга.

Барин вздохнул и присел на скамеечку. Познакомим с ним читателя, пока он сидит, подогнувши под себя ножки и задумчиво поглядывая кругом.

Зовут его Николаем Петровичем Кирсановым. У него в пятнадцати верстах от постоялого дворика хорошее имение в двести душ, или, как он выражается с тех пор, как размежевался с крестьянами и завел «ферму», — в две тысячи десятин земли. Отец его, боевой генерал 1812 года, полуграмотный, грубый, но не злой русский человек, всю жизнь свою тянул лямку, командовал сперва бригадой, потом дивизией и постоянно жил в провинции, где в силу своего чина играл довольно значительную роль. Николай Петрович родился на юге России, подобно старшему своему брату Павлу, о котором речь впереди, и воспитывался до четырнадцатилетнего возраста дома, окруженный дешевыми гувернерами, развязными, но подобострастными адъютантами и прочими полковыми и штабными личностями. Родительница его, из фамилии Колязиных, в девицах Agathe, а в генеральшах Агафоклея Кузьминишна Кирсанова, принадлежала к числу «матушек-командирш», носила пышные чепцы и шумные шёлковые платья, в церкви подходила первая ко кресту, говорила громко и много, допускала де-

тей утром к ручке, на ночь их благословляла, — словом, жила в свое удовольствие. В качестве генеральского сына Николай Петрович — хотя не только не отличался храбростью, но даже заслужил прозвище трусишки — должен был, подобно брату Павлу, поступить в военную службу; но он переломил себе ногу в самый тот день, когда уже пришло известие об его определении, и, пролежав два месяца в постели, на всю жизнь остался «хроменьким». Отец махнул на него рукой и пустил его по штатской. Он довез его в Петербург, как только ему минул восемнадцатый год, и поместил его в университет. Кстати, брат его о ту пору вышел офицером в гвардейский полк. Молодые люди стали жить вдвоем, на одной квартире, под отдаленным надзором двоюродного дяди с материнской стороны, Ильи Колязина, важного чиновника. Отец их вернулся к своей дивизии и к своей супруге и лишь изредка присылал сыновьям большие четвертушки серой бумаги, испещренные размашистым писарским почерком. На конце этих четвертушек красовались старательно окруженные «выкрутасами» слова: «Пиотр Кирсанов, генерал-майор». В 1835 году Николай Петрович вышел из университета кандидатом, и в том же году генерал Кирсанов, уволенный в отставку за неудачный смотр, приехал в Петербург с женою на житье. Он нанял было дом у Таврического сада и записался в английский клуб, но внезапно умер от удара. Агафоклея Кузьминшна скоро за ним последовала: она не могла привыкнуть к глухой столичной жизни; тоска отставного существования ее загрызла. Между тем Николай Петрович успел, еще при жизни родителей и к немалому их огорчению, влюбиться в дочку чиновника Преполовенского, бывшего хозяина его квартиры, миловидную и, как говорится, развитую девицу: она в журналах читала серьезные статьи в отделе «Наук». Он женился на ней, как только минул срок траура, и, покинув министерство уделов, куда по протекции отец его записал, блаженствовал со своею Машей сперва на даче около Лесного института, потом в городе, в маленькой и хорошенькой квартире, с чистою лестницей и холловатою гостиною, наконец — в деревне, где он поселился окончательно и где у него в скором времени родился сын Аркадий. Супруги жили очень хорошо и тихо: они почти никогда не расставались, читали вместе, играли в четыре руки на фортепьяно, пели дуэты; она сажала цветы и наблюдала за птичьим двором, он изредка ездил на охоту и занимался хозяйством, а Аркадий рос да рос — тоже хорошо и тихо. Десять лет прошло как сон. В 47-м году жена Кирсанова скончалась. Он едва вынес этот удар, поседел в несколько недель; собрался было за границу, чтобы хотя немного рассеяться... но тут настал 48-й год. Он поневоле вернулся в деревню и после довольно продолжительного бездействия занялся хозяйственными преобразованиями. В 55-м году он повез сына в университет; прожил с ним три зимы в Петербурге, почти никуда не выходя и стараясь заводить знакомства с молодыми товарищами Аркадия. На последнюю зиму он приехать не мог, — и

вот мы видим его в мае месяце 1859 года, уже совсем седого, пухленького и немного сторбленного: он ждет сына, получившего, как некогда он сам, звание кандидата.

Слуга, из чувства приличия, а может быть, и не желая остаться под барским глазом, зашел под ворота и закурил трубку. Николай Петрович поник головой и начал глядеть на ветхие ступеньки крылечка: крупный пестрый цыпленок степенно расхаживал по ним, крепко стуча своими большими желтыми ногами; запачканная кошка недружелюбно посматривала на него, жеманно прикорнув на перила. Солнце пекло; из полутемных сеней постоянного двора несло запахом теплого ржаного хлеба. Замечтался наш Николай Петрович. «Сын... кандидат... Аркаша...» — беспрестанно вертелось у него в голове; он пытался думать о чем-нибудь другом, и опять возвращались те же мысли. Вспомнилась ему покойница-жена... «Не дождалась!» — шепнул он уныло... Толстый сизый голубь прилетел на дорогу и поспешно отправился пить в лужицу возле колодца. Николай Петрович стал глядеть на него, а ухо его уже ловило стук приближающихся колес...

— Никак они едут-с, — доложил слуга, вынырнув из-под ворот.

Николай Петрович вскочил и устремил глаза вдоль дороги. Показался тарантас, запряженный тройкой ямских лошадей; в тарантасе мелькнул околыш студентской фуражки, знакомый очерк дорогого лица...

— Аркаша! Аркаша! — закричал Кирсанов, и побежал, и замахал руками... Несколько мгновений спустя его губы уже прильнули к безбородой, запыленной и загорелой щеке молодого кандидата.

II

— Дай же отряхнуться, папаша, — говорил несколько сиплым от дороги, но звонким юношеским голосом Аркадий, весело отвечая на отцовские ласки, — я тебя всего запачкаю.

— Ничего, ничего, — твердил, умиленно улыбаясь, Николай Петрович и раза два ударил рукою по воротнику сыновней шинели и по собственному пальто. — Покажи-ка себя, покажи-ка, — прибавил он, отодвигаясь, и тотчас же пошел торопливыми шагами к постоянному двору, приговаривая: «Вот сюда, сюда, да лошадей поскорее».

Николай Петрович казался гораздо встревоженнее своего сына; он словно потерялся немного, словно робел. Аркадий остановил его.

— Папаша, — сказал он, — позволь познакомиться тебя с моим добрым приятелем, Базаровым, о котором я тебе так часто писал. Он так любезен, что согласился погостить у нас.

Николай Петрович быстро обернулся и, подойдя к человеку высокого роста в длинном балахоне с кистями, только что вылезшему из тарантаса, крепко стиснул его обнаженную красную руку, которую тот не сразу ему подал.

— Душевно рад, — начал он, — и благодарен за доброе намерение посетить нас; надеюсь... позвольте узнать ваше имя и отчество?

— Евгений Васильев, — отвечал Базаров ленивым, но мужественным голосом и, отвернув воротник балахона, показал Николаю Петровичу всё свое лицо. Длинное и худое, с широким лбом, кверху плоским, книзу заостренным носом, большими зеленоватыми глазами и висячими бакенбардами песочного цвету, оно оживлялось спокойной улыбкой и выражало самоуверенность и ум.

— Надеюсь, любезнейший Евгений Васильич, что вы не соскучитесь у нас, — продолжал Николай Петрович.

Тонкие губы Базарова чуть тронулись; но он ничего не отвечал и только приподнял фуражку. Его темно-белокурые волосы, длинные и густые, не скрывали крупных выпуклостей просторного черепа.

— Так как же, Аркадий, — заговорил опять Николай Петрович, оборачиваясь к сыну, — сейчас закладывать лошадей, что ли? Или вы отдохнуть хотите?

— Дома отдохнем, папаша; вели закладывать.

— Сейчас, сейчас, — подхватил отец. — Эй, Петр, слышишь? Распорядись, братец, поживее.

Петр, который в качестве усовершенствованного слуги не подошел к ручке барича, а только издали поклонился ему, снова скрылся под воротами.

— Я здесь с коляской, но и для твоего тарантаса есть тройка, — хлопотливо говорил Николай Петрович, между тем как Аркадий пил воду из железного ковшика, принесенного хозяйкой постоялого двора, а Базаров закурил трубку и подошел к ямщику, отпрягнувшему лошадей, — только коляска двухместная, и вот я не знаю, как твой приятель...

— Он в тарантасе поедет, — перебил вполголоса Аркадий. — Ты с ним, пожалуйста, не церемонься. Он чудесный малый, такой простой — ты увидишь.

Кучер Николая Петровича вывел лошадей.

— Ну, поворачивайся, толстобородый! — обратился Базаров к ямщику.

— Слышь, Митюха, — подхватил другой тут же стоявший ямщик с руками, засунутыми в задние прорехи тулупа, — барин-то тебя как прозвал? Толстобородый и есть.

Митюха только шапкой тряхнул и потащил вожжи с потной коренной.

— Живей, живей, ребята, подсобляйте, — воскликнул Николай Петрович, — на водку будет!

В несколько минут лошади были заложены; отец с сыном поместились в коляске; Петр взобрался на козлы; Базаров вскочил в тарантас, уткнулся головой в кожаную подушку — и оба экипажа покатили.

III

— Так вот как, наконец ты кандидат и домой приехал, — говорил Николай Петрович, потрогивая Аркадия то по плечу, то по колену. — Наконец!

— А что дядя? здоров? — спросил Аркадий, которому, несмотря на искреннюю, почти детскую радость, его наполнявшую, хотелось поскорее перевести разговор с настроения взволнованного на обыденное.

— Здоров. Он хотел было выехать со мной к тебе навстречу, да почему-то раздумал.

— А ты долго меня ждал? — спросил Аркадий.

— Да часов около пяти.

— Добрый папаша!

Аркадий живо повернулся к отцу и звонко поцеловал его в щеку. Николай Петрович тихонько засмеялся.

— Какую я тебе славную лошадь приготовил! — начал он, — ты увидишь. И комната твоя оклеена обоями.

— А для Базарова комната есть?

— Найдется и для него.

— Пожалуйста, папаша, приласкай его. Я не могу тебе выразить, до какой степени я дорожу его дружбой.

— Ты недавно с ним познакомился?

— Недавно.

— То-то прошлою зимой я его не видал. Он чем занимается?

— Главный предмет его — естественные науки. Да он всё знает. Он в будущем году хочет держать на доктора.

— А! он по медицинскому факультету, — заметил Николай Петрович и помолчал. — Петр, — прибавил он и протянул руку, — это, никак, наши мужики едут?

Петр глянул в сторону, куда указывал барин. Несколько телег, запряженных разнузданными лошадьми, шибко катились по узкому проселку. В каждой телеге сидело по одному, много по два мужика в тулупах нараспашку.

— Точно так-с, — промолвил Петр.

— Куда это они едут, в город, что ли?

— Полагать надо, что в город. В кабак, — прибавил он презрительно и слегка наклонился к кучеру, как бы ссылаясь на него. Но тот даже не пошевелился: это был человек старого закала, не разделявший новейших воззрений.

— Хлопоты у меня большие с мужиками в нынешнем гсду, — продолжал Николай Петрович, обращаясь к сыну. — Не платят оброка. Что ты будешь делать?

— А своими наемными работниками ты доволен?

— Да, — процедил сквозь зубы Николай Петрович. — Подбивают их, вот что беда; ну, и настоящего старания всё еще нету. Сбрую пор-

тят. Пахали, впрочем, ничего. Перемелется — мука будет. Да разве тебя теперь хозяйство занимает?

— Тени нет у вас, вот что горе, — заметил Аркадий, не отвечая на последний вопрос.

— Я с северной стороны над балконом большую маркизу приделал, — промолвил Николай Петрович, — теперь и обедать можно на воздухе.

— Что-то на дачу больно похоже будет... а впрочем, это всё пустяки. Какой зато здесь воздух! Как славно пахнет! Право, мне кажется, нигде в мире так не пахнет, как в здешних краях! Да и небо здесь...

Аркадий вдруг остановился, бросил косвенный взгляд назад и умолк.

— Конечно, — заметил Николай Петрович, — ты здесь родился, тебе всё должно казаться здесь чем-то особенным...

— Ну, папаша, это всё равно, где бы человек ни родился.

— Однако...

— Нет, это совершенно всё равно.

Николай Петрович посмотрел сбоку на сына, и коляска проехала с полверсты, прежде чем разговор возобновился между ними.

— Не помню, писал ли я тебе, — начал Николай Петрович, — твоя бывшая нянюшка, Егоровна, скончалась.

— Неужели? Бедная старуха! А Прокофьич жив?

— Жив и нисколько не изменился. Всё так же брюзжит. Вообще ты больших перемен в Марьине не найдешь.

— Приказчик у тебя всё тот же?

— Вот разве что приказчика я сменил. Я решился не держать больше у себя вольноотпущенных, бывших дворовых, или по крайней мере не поручать им никаких должностей, где есть ответственность. (Аркадий указал глазами на Петра.) Il est libre, en effet¹, — заметил вполголоса Николай Петрович, — но ведь он — камердинер. Теперь у меня приказчик из мещан: кажется, дельный малый. Я ему назначил двести пятьдесят рублей в год. Впрочем, — прибавил Николай Петрович, потирая лоб и брови рукою, что у него всегда служило признаком внутреннего смущения, — я тебе сейчас сказал, что ты не найдешь перемен в Марьине... Это не совсем справедливо. Я считаю своим долгом предvarить тебя, хотя...

Он запнулся на мгновенье и продолжал уже по-французски.

— Строгий моралист найдет мою откровенность неуместною, но, во-первых, это скрыть нельзя, а во-вторых, тебе известно, у меня всегда были особенные принципы насчет отношений отца к сыну. Впрочем, ты, конечно, будешь вправе осудить меня. В мои лета... Словом, эта... эта девушка, про которую ты, вероятно, уже слышал...

— Фенечка? — развязно спросил Аркадий.

Николай Петрович покраснел.

¹ Он в самом деле вольный (франц.).

— Не называй ее, пожалуйста, громко... Ну, да... она теперь живет у меня. Я ее поместил в доме... там были две небольшие комнатки. Впрочем, это всё можно переменить.

— Помилуй, папаша, зачем?

— Твой приятель у нас гостить будет... неловко...

— Насчет Базарова ты, пожалуйста, не беспокойся. Он выше всего этого.

— Ну, ты, наконец, — проговорил Николай Петрович. — Флигелек-то плох — вот беда.

— Помилуй, папаша, — подхватил Аркадий, — ты как будто извиняешься; как тебе не совестно.

— Конечно, мне должно быть совестно, — отвечал Николай Петрович, всё более и более краснея.

— Полно, папаша, полно, сделай одолжение! — Аркадий ласково улыбнулся. «В чем извиняется!» — подумал он про себя, и чувство снисходительной нежности к доброму и мягкому отцу, смешанное с ощущением какого-то тайного превосходства, наполнило его душу. — Перестань, пожалуйста, — повторил он еще раз, невольно наслаждаясь сознанием собственной развитости и свободы.

Николай Петрович глянул на него из-под пальцев руки, которою он продолжал тереть себе лоб, и что-то кольнуло его в сердце... Но он тут же обвинил себя.

— Вот это уж наши поля пошли, — проговорил он после долгого молчания.

— А это впереди, кажется, наш лес? — спросил Аркадий.

— Да, наш. Только я его продал. В нынешнем году его сводить будут.

— Зачем ты его продал?

— Деньги были нужны; притом же эта земля отходит к мужикам.

— Которые тебе оброка не платят?

— Это уж их дело, а впрочем, будут же они когда-нибудь платить.

— Жаль леса, — заметил Аркадий и стал смотреть кругом.

Места, по которым они проезжали, не могли назваться живописными. Поля, всё поля, тянулись вплоть до самого небосклона, то слегка вздымаясь, то опускаясь снова; кое-где виднелись небольшие леса, и, усеянные редким и низким кустарником, вились овраги, напоминающая глазу их собственное изображение на старинных планах екатеринского времени. Попадались и речки с обрывными берегами, и крошечные пруды с худыми плотинами, и деревеньки с низкими избушками под темными, часто до половины разметанными крышами, и покривившиеся молотильные сарайчики с плетеными из хвороста стенами и зевающими воротницами возле опустелых гумен, и церкви, то кирпичные с отвалившеюся кое-где штукатуркой, то деревянные с наклонившимися крестами и разоренными кладбищами. Сердце Аркадия понемногу сжималось. Как нарочно, мужички встречались все оттерханные, на плохих клячонках; как нищие в лохмотьях, стояли

придорожные ракиты с ободранною корой и обломанными ветвями; исхудалые, шершавые, словно обглоданные, коровы жадно шипали траву по канавам. Казалось, они только что вырвались из чьих-то грозных, смертоносных когтей — и, вызванный жалким видом обесиленных животных, среди весеннего красного дня вставал белый призрак безотрадной, бесконечной зимы с ее метелями, морозами и снегами... «Нет, — подумал Аркадий, — небогатый край этот, не поражает он ни довольством, ни трудолюбием; нельзя, нельзя ему так остаться, преобразования необходимы... но как их исполнить, как приступить?..»

Так размышлял Аркадий... а пока он размышлял, весна брала свое. Всё кругом золотисто зеленело, всё широко и мягко волновалось и лоснилось под тихим дыханием теплого ветерка, всё — деревья, кусты и травы; повсюду нескончаемыми звонкими струйками заливались жаворонки; чибисы то кричали, вивая над низменными лугами, то молча перебегали по кочкам; красиво чернея в нежной зелени еще низких яровых хлебов, гуляли грачи; они пропадали во ржи, уже слегка побелевшей, лишь изредка выказывались их головы в дымчатых ее волнах. Аркадий глядел, глядел, и, понемногу ослабевая, исчезали его размышления... Он сбросил с себя шинель и так весело, таким молоденьким мальчиком посмотрел на отца, что тот опять его обнял.

— Теперь уж недалеко, — заметил Николай Петрович. — вот стоит только на эту горку подняться, и дом будет виден. Мы заживем с тобой на славу, Аркаша; ты мне помогать будешь по хозяйству, если только это тебе не наскучит. Нам надобно теперь тесно сойтись друг с другом, узнать друг друга хорошенько, не правда ли?

— Конечно, — промолвил Аркадий, — но что за чудный день сегодня!

— Для твоего приезда, душа моя. Да, весна в полном блеске. А впрочем, я согласен с Пушкиным — помнишь, в Евгении Онегине:

Как грустно мне твое явленье,
Весна, весна, пора любви!
Какое...

— Аркадий! — раздался из тарантаса голос Базарова, — пришли мне спичку, нечем трубку раскурить.

Николай Петрович умолк, а Аркадий, который начал было слушать его не без некоторого изумления, но и не без сочувствия, поспешил достать из кармана серебряную коробочку со спичками и послал ее Базарову с Петром.

— Хочешь сигарку? — закричал опять Базаров.

— Давай, — отвечал Аркадий.

Петр вернулся к коляске и вручил ему вместе с коробочкой толстую черную сигарку, которую Аркадий немедленно закурил, распространяя вокруг себя такой крепкий и кислый запах заматерелого таба-

ку, что Николай Петрович, отроду не куривший, поневоле, хотя незаметно, чтобы не обидеть сына, отворачивал нос.

Четверть часа спустя оба экипажа остановились перед крыльцом нового деревянного дома, выкрашенного серою краской и покрытого железною красною крышей. Это и было Марьино, Новая слободка тож, или, по крестьянскому наименованию, Бобылий хутор.

IV

Толпа дворовых не высыпала на крыльцо встречать господ; показалась всего одна девочка лет двенадцати, а вслед за ней вышел из дому молодой парень, очень похожий на Петра, одетый в серую ливрейную куртку с белыми гербовыми пуговицами, слуга Павла Петровича Кирсанова. Он молча отворил дверцу коляски и отстегнул фартук тарантаса. Николай Петрович с сыном и с Базаровым отправились через темную и почти пустую залу, из-за двери которой мелькнуло молодое женское лицо, в гостиную, убранную уже в новейшем вкусе.

— Вот мы и дома. — промолвил Николай Петрович, снимая картуз и встряхивая волосами. — Главное, надо теперь поужинать и отдохнуть.

— Поесть действительно не худо, — заметил, потягиваясь, Базаров и опустился на диван.

— Да, да, ужинать давайте, ужинать поскорее. — Николай Петрович без всякой видимой причины потопал ногами. — Вот кстати и Прокофьич.

Вошел человек лет шестидесяти, беловолосый, худой и смуглый, в коричневом фраке с медными пуговицами и в розовом платочке на шее. Он осклабился, подошел к ручке к Аркадию и, поклонившись гостю, отступил к двери и положил руки за спину.

— Вот он, Прокофьич, — начал Николай Петрович, — приехал к нам наконец... Что? как ты его находишь?

— В лучшем виде-с, — проговорил старик и осклабился опять, но тотчас же нахмурил свои густые брови. — На стол накрывать прикажете? — проговорил он внушительно.

— Да, да, пожалуйста. Но не пройдет ли вы сперва в вашу комнату, Евгений Васильич?

— Нет, благодарствуйте, незачем. Прикажете только чемоданишко мой туда стащить да вот эту одёженку, — прибавил он, снимая с себя свой балахон.

— Очень хорошо. Прокофьич, возьми же их шинель. (Прокофьич, как бы с недоумением, взял обеими руками базаровскую «одёженку» и, высоко подняв ее над головою, удалился на цыпочках.) А ты, Аркадий, пойдешь к себе на минутку?

— Да, надо почиститься, — отвечал Аркадий и направился было к дверям, но в это мгновение вошел в гостиную человек среднего роста,

одетый в темный английский *сьют*, модный низенький галстух и лаковые полусапожки, Павел Петрович Кирсанов. На вид ему было лет сорок пять: его коротко остриженные седые волосы отливали темным блеском, как новое серебро; лицо его, желчное, но без морщин, необыкновенно правильное и чистое, словно выведенное тонким и легким резцом, являло следы красоты замечательной; особенно хороши были светлые, черные, продолговатые глаза. Весь облик Аркадиева дяди, изящный и породистый, сохранил юношескую стройность и то стремление вверх, прочь от земли, которое большею частью исчезает после двадцатых годов.

Павел Петрович вынул из кармана панталон свою красивую руку с длинными розовыми ногтями, — руку, казавшуюся еще красивей от снежной белизны рукавчика, застегнутого одиноким крупным опалом, и подал ее племяннику. Совершив предварительно европейское «shake hands»¹, он три раза, по-русски, поцеловался с ним, то есть три раза прикоснулся своими душистыми усами до его щек, и проговорил: «Добро пожаловать».

Николай Петрович представил его Базарову: Павел Петрович слегка наклонил свой гибкий стан и слегка улыбнулся, но руки не подал и даже положил ее обратно в карман.

— Я уже думал, что вы не приедете сегодня, — заговорил он приятным голосом, любезно покачиваясь, подергивая плечами и показывая прекрасные белые зубы. — Разве что на дороге случилось?

— Ничего не случилось, — отвечал Аркадий, — так, замешкались немного. Зато мы теперь голодны, как волки. Поторопи Прокофьича, папаша, а я сейчас вернусь.

— Пстой, я с тобой пойду, — воскликнул Базаров, внезапно порываясь с дивана. Оба молодые человека вышли.

— Кто сей? — спросил Павел Петрович.

— Приятель Аркаши, очень, по его словам, умный человек.

— Он у нас гостить будет?

— Да.

— Этот волосатый?

— Ну да.

Павел Петрович постучал ногтями по столу.

— Я нахожу, что Аркадий s'est dégoûdi², — заметил он. — Я рад его возвращению.

За ужином разговаривали мало. Особенно Базаров почти ничего не говорил, но ел много. Николай Петрович рассказывал разные случаи из своей, как он выражался, фермерской жизни, толковал о предстоящих правительственных мерах, о комитетах, о депутатах, о необходимости заводить машины и т. д. Павел Петрович медленно похаживал взад и вперед по столовой (он никогда не ужинал), изред-

¹ «рукопожатие» (англ.).

² стал развязнее (франц.).

ка отхлебывая из рюмки, наполненной красным вином, и еще реже произнося какое-нибудь замечание или скорее восклицание, вроде «а! эге! гм!» Аркадий сообщил несколько петербургских новостей, но он ощущал небольшую неловкость, ту неловкость, которая обыкновенно овладевает молодым человеком, когда он только что перестал быть ребенком и возвратился в место, где привыкли видеть и считать его ребенком. Он без нужды растягивал свою речь, избегал слова «папаша» и даже раз заменил его словом «отец», произнесенным, правда, сквозь зубы; с излишнею развязностью налил себе в стакан гораздо больше вина, чем самому хотелось, и выпил всё вино. Прокофьич не спускал с него глаз и только губами пожевывал. После ужина все тотчас разошлись.

— А чудаковат у тебя дядя, — говорил Аркадию Базаров, сидя в халате возле его постели и насасывая короткую трубочку. — Щегольство какое в деревне, подумаешь! Ногти-то, ногти, хоть на выставку посылай!

— Да ведь ты не знаешь, — ответил Аркадий, — ведь он львом был в свое время. Я когда-нибудь расскажу тебе его историю. Ведь он красавцем был, голову кружил женщинам.

— Да, вот что! По старой, значит, памяти. Пленять-то здесь, жаль, некого. Я всё смотрел: этакие у него удивительные воротнички, точно каменные, и подбородок так аккуратно выбрит. Аркадий Николаич, ведь это смешно?

— Пожалуй; только он, право, хороший человек.

— Архаическое явление! А отец у тебя славный малый. Стихи он напрасно читает и в хозяйстве вряд ли смыслит, но он добряк.

— Отец у меня золотой человек.

— Заметил ли ты, что он робеет?

Аркадий качнул головою, как будто он сам не робел.

— Удивительное дело, — продолжал Базаров, — эти старенькие романтики! Разовьют в себе нервную систему до раздражения... ну, равновесие и нарушено. Однако прощай! В моей комнате английский рукомойник, а дверь не запирается. Все-таки это поощрять надо — английские рукомойники, то есть прогресс!

Базаров ушел, а Аркадием овладело радостное чувство. Сладко засыпать в родимом доме, на знакомой постеле, под одеялом, над которым трудились любимые руки, быть может руки нянюшки, те ласковые, добрые и неутомимые руки. Аркадий вспомнил Егоровну, и вздохнул, и пожелал ей Царствия Небесного... О себе он не молился.

И он и Базаров заснули скоро, но другие лица в доме долго еще не спали. Возвращение сына взволновало Николая Петровича. Он лег в постель, но не загасил свечи и, подперши рукою голову, думал долгие думы. Брат его сидел далеко за полночь в своем кабинете, на широком гамбсовом кресле, перед камином, в котором слабо тлел каменный уголь. Павел Петрович не разделся, только китайские красные

туфли без задков сменили на его ногах лаковые полусапожки. Он держал в руках последний номер *Galignani*, но он не читал; он глядел пристально в камин, где, то замирая, то вспыхивая, вздрагивало голубоватое пламя... Бог знает, где бродили его мысли, но не в одном только прошедшем бродили они: выражение его лица было сосредоточенно и угрюмо, чего не бывает, когда человек занят одними воспоминаниями. А в маленькой задней комнатке, на большом сундуке, сидела, в голубой душегрейке и с наброшенным белым платком на темных волосах, молодая женщина, Фенечка, и то прислушивалась, то дремала, то посматривала на растворенную дверь, из-за которой виднелась детская кроватка и слышалось ровное дыхание спящего ребенка.

V

На другое утро Базаров раньше всех проснулся и вышел из дома. «Эге! — подумал он, посмотрев кругом, — местечко-то неказисто». Когда Николай Петрович размежевался с своими крестьянами, ему пришлось отвести под новую усадьбу десятины четыре совершенно ровного и голого поля. Он построил дом, службы и ферму, разбил сад, выкопал пруд и два колодца; но молодые деревца плохо принимались, в пруде воды набралось очень мало, и колодцы оказались солонковатого вкуса. Одна только беседка из сиреней и акаций порядочно разрослась; в ней иногда пили чай и обедали. Базаров в несколько минут обегал все дорожки сада, зашел на скотный двор, на конюшню, отыскал двух дворовых мальчишек, с которыми тотчас свел знакомство, и отправился с ними в небольшое болотце, с версту от усадьбы, за лягушками.

— На что тебе лягушки, барин? — спросил его один из мальчиков.

— А вот на что, — отвечал ему Базаров, который владел особенным умением возбуждать к себе доверие в людях низших, хотя он никогда не потакал им и обходился с ними небрежно, — я лягушку распластаю да посмотрю, что у нее там внутри делается; а так как мы с тобой те же лягушки, только что на ногах ходим, я и буду знать, что и у нас внутри делается.

— Да на что тебе это?

— А чтобы не ошибиться, если ты занеможешь и мне тебя лечить придется.

— Разве ты дохтур?

— Да.

— Васька, слышь, барин говорит, что мы с тобой те же лягушки. Чудно!

— Я их боюсь, лягушек-то, — заметил Васька, мальчик лет семи, с белою, как лен, головою, в сером казакине с стоячим воротником и босой.

— Чего бояться? разве они кусаются?

— Ну, полезайте в воду, философы, — промолвил Базаров.

Между тем Николай Петрович тоже проснулся и отправился к Аркадию, которого застал одетым. Отец и сын вышли на террасу, под навес маркизы; возле перил, на столе, между большими букетами сирени, уже кипел самовар. Явилась девочка, та самая, которая накануне первая встретила приезжих на крыльце, и тонким голосом проговорила:

— Федосья Николаевна не совсем здоровы, прийти не могут; приказали вас спросить, вам самим угодно разлить чай или прислать Дуняшу?

— Я сам разолью, сам, — поспешно подхватил Николай Петрович. — Ты, Аркадий, с чем пьешь чай, со сливками или с лимоном?

— Со сливками, — отвечал Аркадий и, помолчав немного, вопросительно произнес: — Папаша?

Николай Петрович с замешательством посмотрел на сына.

— Что? — промолвил он. Аркадий опустил глаза.

— Извини, папаша, если мой вопрос тебе покажется неуместным, — начал он, — но ты сам, вчерашнюю своею откровенностью, меня вызываешь на откровенность... ты не рассердишься?..

— Говори.

— Ты мне даешь смелость спросить тебя... Не оттого ли Фен... не оттого ли она не приходит сюда чай разливать, что я здесь?

Николай Петрович слегка отвернулся.

— Может быть, — проговорил он наконец, — она предполагает... она стыдится...

Аркадий быстро вскинул глазами на отца.

— Напрасно ж она стыдится. Во-первых, тебе известен мой образ мыслей (Аркадию очень было приятно произнести эти слова), а во-вторых — захочу ли я хоть на волос стеснять твою жизнь, твои привычки? Притом, я, уверен, ты не мог сделать дурной выбор; если ты позволил ей жить с тобой под одною кровлей, стало быть она это заслуживает: во всяком случае, сын отцу не судья, и в особенности я, и в особенности такому отцу, который, как ты, никогда и ни в чем не стеснял моей свободы.

Голос Аркадия дрожал сначала: он чувствовал себя великодушным, однако в то же время понимал, что читает нечто вроде наставления своему отцу: но звук собственных речей сильно действует на человека, и Аркадий произнес последние слова твердо, даже с эффектом.

— Спасибо, Аркаша, — глухо заговорил Николай Петрович, и пальцы его опять заходили по бровям и по лбу. — Твои предположения действительно справедливы. Конечно, если б эта девушка не стояла... Это не легкомысленная прихоть. Мне неловко говорить с тобой об этом; но ты понимаешь, что ей трудно было прийти сюда при тебе, особенно в первый день твоего приезда.

— В таком случае я сам пойду к ней, — воскликнул Аркадий с новым приливом великодушных чувств и вскочил со стула. — Я ей растолкую, что ей нечего меня стыдиться.

Николай Петрович тоже встал.

— Аркадий, — начал он, — сделай одолжение... как же можно... там... Я тебя не предварил...

Но Аркадий уже не слушал его и убежал с террасы. Николай Петрович посмотрел ему вслед и в смущенье опустил на стул. Сердце его забилося... Представилась ли ему в это мгновение неизбежная странность будущих отношений между им и сыном, сознавал ли он, что едва ли не большее бы уважение оказал ему Аркадий, если б он вовсе не касался этого дела, упрекал ли он самого себя в слабости — сказать трудно; все эти чувства были в нем, но в виде ощущений — и то неясных; а с лица не сходила краска, и сердце билось.

Послышались торопливые шаги, и Аркадий вошел на террасу.

— Мы познакомились, отец! — воскликнул он с выражением какого-то ласкового и доброго торжества на лице. — Федосья Николаевна точно сегодня не совсем здорова и придет попозже. Но как же ты не сказал мне, что у меня есть брат? Я бы уже вчера вечером его расцеловал, как я сейчас расцеловал его.

Николай Петрович хотел что-то вымолвить, хотел подняться и раскрыть объятия... Аркадий бросился ему на шею.

— Что это? опять обнимаетесь? — раздался сзади их голос Павла Петровича.

Отец и сын одинаково обрадовались появлению его в эту минуту; бывают положения трогательные, из которых все-таки хочется поскорее выйти.

— Чему ж ты удивляешься? — весело заговорил Николай Петрович. — В кои-то веки дождался я Аркаши... Я со вчерашнего дня и насмотреться на него не успел.

— Я вовсе не удивляюсь, — заметил Павел Петрович, — я даже сам не прочь с ним обняться.

Аркадий подошел к дяде и снова почувствовал на щеках своих прикосновение его душистых усов. Павел Петрович присел к столу. На нем был изящный утренний, в английском вкусе, костюм; на голове красовалась маленькая феска. Эта феска и небрежно повязанный галстучек намекали на свободу деревенской жизни; но тугие воротнички рубашки, правда не белой, а пестренькой, как оно и следует для утреннего туалета, с обычною неумолимостью упирались в выбритый подбородок.

— Где же новый твой приятель? — спросил он Аркадия.

— Его дома нет; он обыкновенно встает рано и отправляется куда-нибудь. Главное, не надо обращать на него внимания: он церемоний не любит.

— Да, это заметно. — Павел Петрович начал, не торопясь, намазывать масло на хлеб. — Долго он у нас прогостит?

— Как придется. Он заехал сюда по дороге к отцу.

— А отец его где живет?

— В нашей же губернии, верст восемьдесят отсюда. У него там не-
большое имение. Он был прежде полковым доктором.

— Тэ-тэ-тэ-тэ... То-то я всё себя спрашивал: где слышал я эту фа-
милию: Базаров?... Николай, помнится, в батюшкиной дивизии был
лекарь Базаров?

— Кажется, был.

— Точно, точно. Так этот лекарь его отец. Гм! — Павел Петрович
повел усами. — Ну, а сам господин Базаров собственно что такое? —
спросил он с расстановкой.

— Что такое Базаров? — Аркадий усмехнулся. — Хотите, дядюшка,
я вам скажу, что он собственно такое?

— Сделай одолжение, племянничек.

— Он нигилист.

— Как? — спросил Николай Петрович, а Павел Петрович поднял
на воздух нож с куском масла на конце лезвия и остался неподвижен.

— Он нигилист, — повторил Аркадий.

— Нигилист, — проговорил Николай Петрович. — Это от латин-
ского *nihil*, *ничего*, сколько я могу судить; стало быть, это слово озна-
чает человека, который... который ничего не признаёт?

— Скажи: который ничего не уважает, — подхватил Павел Петро-
вич и снова принялся за масло.

— Который ко всему относится с критической точки зрения, — за-
метил Аркадий.

— А это не всё равно? — спросил Павел Петрович.

— Нет, не всё равно. Нигилист — это человек, который не склоня-
ется ни перед какими авторитетами, который не принимает ни одного
принципа на веру, каким бы уважением ни был окружен этот прин-
цип.

— И что ж, это хорошо? — перебил Павел Петрович.

— Смотря как кому, дядюшка. Иному от этого хорошо, а иному
очень дурно.

— Вот как. Ну, это, я вижу, не по нашей части. Мы, люди старого
века, мы полагаем, что без принципов (Павел Петрович выговаривал
это слово мягко, на французский манер, Аркадий, напротив, произ-
носил «прынцип», налегая на первый слог), без принципов, приня-
тых, как ты говоришь, на веру, шагу ступить, дохнуть нельзя. *Vous avez
changé tout cela*¹, дай вам бог здоровья и генеральский чин, а мы только
любоваться вами будем, господа... как бишь?

— Нигилисты, — отчетливо проговорил Аркадий.

— Да. Прежде были гегелисты, а теперь нигилисты. Посмотрим,
как вы будете существовать в пустоте, в безвоздушном пространстве; а

¹ Вы все это переменили. (франц.)

теперь позвони-ка, пожалуйста, брат, Николай Петрович, мне пора пить мой какао.

Николай Петрович позвонил и закричал: «Дуняша!» Но вместо Дуняши на террасу вышла сама Фенечка. Эта была молодая женщина лет двадцати трех, вся беленькая и мягкая, с темными волосами и глазами, с красными, детски пухлявыми губками и нежными ручками. На ней было опрятное ситцевое платье; голубая новая косынка легко лежала на ее круглых плечах. Она несла большую чашку какао и, поставив ее перед Павлом Петровичем, вся застыдилась: горячая кровь разлилась алою волной под тонкою кожицей ее миловидного лица. Она опустила глаза и остановилась у стола, слегка опираясь на самые кончики пальцев. Казалось, ей и совестно было, что она пришла, и в то же время она как будто чувствовала, что имела право прийти.

Павел Петрович строго нахмурил брови, а Николай Петрович смутился.

— Здравствуй, Фенечка, — проговорил он сквозь зубы.

— Здравствуйте-с, — ответила она негромким, но звучным голосом и, глянув искоса на Аркадия, который дружелюбно ей улыбался, тихонько вышла. Она ходила немножко вразвалку, но и это к ней пристало.

На террасе в течение нескольких мгновений господствовало молчание. Павел Петрович похлебывал свой какао и вдруг поднял голову.

— Вот и господин нигилист к нам жалует, — промолвил он вполголоса.

Действительно, по саду, шагая через клумбы, шел Базаров. Его полотняное пальто и панталоны были запачканы в грязи; цепкое болотное растение обвивало тулью его старой круглой шляпы; в правой руке он держал небольшой мешок; в мешке шевелилось что-то живое. Он быстро приблизился к террасе и, качнув головою, промолвил:

— Здравствуйте, господа; извините, что опоздал к чаю, сейчас вернусь; надо вот этих пленниц к месту пристроить.

— Что это у вас, пиявки? — спросил Павел Петрович.

— Нет, лягушки.

— Вы их едите или разводите?

— Для опытов, — равнодушно проговорил Базаров и ушел в дом.

— Это он их резать станет, — заметил Павел Петрович. — В приписки не верит, а в лягушек верит.

Аркадий с сожалением посмотрел на дядю, и Николай Петрович украдкой пожал плечом. Сам Павел Петрович почувствовал, что сострил неудачно, и заговорил о хозяйстве и о новом управляющем, который накануне приходил к нему жаловаться, что работник Фома «либоширничает» и от рук отбил. «Такой уж он Езоп, — сказал он между прочим, — всюду протестовал себя дурным человеком; поживет и с глупостью отойдет».

ДЫМ

I

10 августа 1862 года, в четыре часа пополудни, в Баден-Бадене, перед известною «Conversation» толпилось множество народа. Погода стояла прелестная; всё кругом — зеленые деревья, светлые дома уютного города, волнистые горы, — всё празднично, полною чашей раскинулось под лучами благосклонного солнца; всё улыбалось как-то слепо, доверчиво и мило, и та же неопределенная, но хорошая улыбка бродила на человеческих лицах, старых и молодых, безобразных и красивых. Самые даже насурмленные, набеленные фигуры парижских лореток не нарушали общего впечатления ясного довольства и ликования, а пестрые ленты, перья, золотые и стальные искры на шляпках и вуалях невольно напоминали взору оживленный блеск и легкую игру весенних цветов и радужных крыл; одна лишь повсюду рассыпавшаяся сухая, гортанная трескотня французского жаргона не могла ни заменить птичьего щебетанья, ни сравниться с ним.

А впрочем, всё шло своим порядком. Оркестр в павильоне играл то попури из «Травиаты», то вальс Штрауса, то «Скажите ей», российский романс, положенный на инструменты услужливым капельмейстером; в игорных залах, вокруг зеленых столов, теснились те же всем знакомые фигуры, с тем же тупым и жадным, не то изумленным, не то озлобленным, в сущности хищным выражением, которое придает каждому, даже самым аристократическим чертам картежная лихорадка; тот же тучноватый и чрезвычайно шегольски одетый помещик из Тамбова, с тою же непостижимою, судорожною поспешностью, выпуча глаза, ложась грудью на стол и не обращая внимания на холодные усмешки самих «крупиз», в самое мгновение возгласа «Rien ne va plus!»¹ рассыпал вспотевшею рукою по всем четвероугольникам рулетки золотые кружки луидоров и тем самым лишал себя всякой возможности что-нибудь выиграть даже в случае удачи, что нисколько не мешало ему, в тот же вечер, с сочувственным негодованием поддакивать князю Кокó одному из известных предводителей дворянской оппозиции, тому князю Кокó, который в Париже, в салоне принцессы Матильды, в присутствии императора, так хорошо сказал: «Madame, le prin-

¹ Возглас в игре, запрещающий делать дальнейшие ставки (*франц.*).

cipe de la propriété est profondément ébranlé en Russie»¹. К русскому дереву — à l'Arbre russe — обычным порядком собирались наши любезные соотечественники и соотечественницы; подходили они пышно, небрежно, модно, приветствовали друг друга величественно, изящно, развязно, как оно и следует существам, находящимся на самой высшей вершине современного образования, но, сойдясь и усевшись, решительно не знали, что сказать друг другу, и пробавлялись либо дрянненьким переливанием из пустого в порожнее, либо затасканными, крайне нахальными и крайне плоскими выходками давным-давно выдохшегося французского экс-литератора, в жидовских башмачках на мизерных ножках и с презренной бородкой на паскудной мордочке, шута и болтуна. Он им врал, à ces princes russes², всякую пресную дребедень из старых альманахов «Шари-вари» и «Тентамарра», а они, ces princes russes, заливались благодарным смехом, как бы невольно сознавая и подавляющее превосходство чужестранного умника и собственную окончательную неспособность придумать что-нибудь забавное. А между тем тут была почти вся «fine fleur»³ нашего общества, «вся знать и моды образцы». Тут был граф X., наш несравненный дилетант, глубокая музыкальная натура, который так божественно «сказывает» романсы, а в сущности двух нот разобрать не может, не тыкая вкось и вкривь указательным пальцем по клавишам, и поет не то как плохой цыган, не то как парижский коафер; тут был и наш воспитательный барон Z., этот мастер на все руки: и литератор, и администратор, и оратор, и шулер; тут был и князь Y., друг религии и народа, составивший себе во время оно, в блаженную эпоху откупа, громадное состояние продажей сивухи, подмешанной дурманом; и блестящий генерал O. O., который что-то покорил, кого-то усмирил и вот, однако, не знает, куда деться и чем себя зарекомендовать; и P. P., забавный толстяк, который считает себя очень большим и очень умным человеком, а здоров как бык и глуп как пень... Тот же P. P. почти один в наше время еще сохранил предания львов сороковых годов, эпохи «Героя нашего времени» и графини Воротынской. Он сохранил и походку враскачку на каблуках, и «le culte de la pose»⁴ (по-русски этого даже сказать нельзя), и неестественную медлительность движений, и сонную величественность выражения на неподвижном, словно обиженном лице, и привычку, зевая, перебивать чужую речь, тщательно рассматривать собственные пальцы и ногти, смеяться в нос, внезапно передвигать шляпу с затылка на брови и т. д. и т. д. Тут были даже государственные люди, дипломаты, тузы с европейскими именами, мужи совета и разума, воображающие, что золотая булла издана папой и что английский «роог-тах»⁵ есть налог на бедных; тут были, наконец, и

¹ «Сударыня, принцип собственности глубоко потрясен в России» (франц.).

² этим русским князьям (франц.).

³ «верхушка, сливки» (франц.).

⁴ «культ позы» (франц.).

⁵ «налог в пользу бедных» (англ.).

рьяные, но застенчивые поклонники камелий, светские молодые львы с превосходнейшими проборами на затылках, с прекраснейшими висячими бакенбардами, одетые в настоящие лондонские костюмы, молодые львы, которым, казалось, ничего не мешало быть такими же пошляками, как и пресловутый французский говорун; но нет! не в ходу, знать, у нас родное, — и графиня Ш., известная законодательница мод и гран-жанра, прозванная злыми языками «Царицей ос» и «Медузой в чепце», предпочитала, в отсутствии говоруна, обращаться к тут же вертевшимся итальянцам, молдаванцам, американским «спиритам», бойким секретарям иностранных посольств, немчикам с женоподобною, но уже осторожною физиономией и т. п. Подражая примеру графини, и княгиня Vabette, та самая, у которой на руках умер Шопен (в Европе считают около тысячи дам, на руках которых он испустил дух), и княгиня Annette, которая всем бы взяла, если бы по временам, внезапно, как запах капусты среди тончайшей амбры, не проскакивала в ней простая деревенская прачка; и княгиня Pchette, с которою случилось такое несчастье: муж ее попал на видное место и вдруг, Dieu sait pourquoi¹, прибил градского голову и украл двадцать тысяч рублей серебром казенных денег; и смешливая княжна Зизі и слезливая княжна Зозó — все они оставляли в стороне своих земляков, немилостиво обходились с ними... Оставим же и мы их в стороне, этих прелестных дам, п отойдем от знаменитого дерева, около которого они сидят в таких дорогах, но несколько безвкусных туалетах, и пошли им Господь облегчения от грызушей их скуки!

II

В нескольких шагах от «русского» дерева, за маленьким столом перед кофейней Вебера, сидел красивый мужчина лет под тридцать, среднего роста, сухощавый и смуглый, с мужественным и приятным лицом. Нагнувшись вперед и опираясь обеими руками на палку, он сидел спокойно и просто, как человек, которому и в голову не может прийти, чтобы кто-нибудь его заметил или занялся им. Его карие, с желтизной, большие, выразительные глаза медленно посматривали кругом, то слегка прищуриваясь от солнца, то вдруг упорно провожая какую-нибудь мимо проходившую эксцентрическую фигуру, причем быстрая, почти детская усмешка чуть-чуть трогала его тонкие усы, губы и выдающийся крутой подбородок. Одет он был в просторное пальто немецкого покроя, и серая мягкая шляпа закрывала до половины его высокий лоб. На первый взгляд он производил впечатление честного и дельного, несколько самоуверенного малого, каких довольно много бывает на белом свете. Он, казалось, отдыхал от продолжительных трудов и тем простодушнее забавлялся рассти-

¹ бог знает почему (франц.).

лавшеюся перед ним картиной, что мысли его были далеко, да и вращались они, эти мысли, в мире, вовсе не похожем на то, что его окружало в этот миг. Он был русский; звали его Григорием Михайловичем Литвиновым.

Нам нужно с ним познакомиться, и потому приходится рассказать в коротких словах его прошедшее, весьма незатейливое и несложное.

Сын отставного служаки-чиновника из купеческого рода, он воспитывался не в городе, как следовало ожидать, а в деревне. Мать его была дворянка, из институток, очень доброе и очень восторженное существо, не без характера однако. Будучи двадцатью годами моложе своего мужа, она его перевоспитала, насколько могла, перетащила его из чиновничьей колеи в помещичью, укротила и смягчила его дюжий, терпкий нрав. По ее милости он стал и одеваться опрятно, и держаться прилично, и браниться бросил; стал уважать ученых и ученость, хотя, конечно, ни одной книги в руки не брал, и всячески старался не уронить себя: даже ходить стал тише и говорил расслабленным голосом, всё больше о предметах возвышенных, что ему стоило трудов немалых. «Эх! взял бы да выпорол!» — думал он иногда про себя, а вслух произносил: «Да, да, это... конечно; это вопрос». Дом свой мать Литвинова тоже поставила на европейскую ногу; слугам говорила «вы» и никому не позволяла за обедом наедаться до сопения. Что же касается до имения, ей принадлежавшего, то ни она сама, ни муж ее ничего с ним сделать не сумели: оно было давно запущено, но многоземельно, с разными угодьями, лесами и озером, на котором когда-то стояла большая фабрика, заведенная ревностным, но безалаберным баринном, процветавшая в руках плута купца и окончательно погибшая под управлением честного антрепренера из немцев. Госпожа Литвинова уже тем была довольна, что не расстроила своего состояния и не наделала долгов. К несчастью, здоровьем она похвалиться не могла и скончалась от чахотки в самый год поступления ее сына в Московский университет. Он не кончил курса по обстоятельствам (читатель узнает о них впоследствии) и угодил в провинцию, где потолокся несколько времени без дела, без связей, почти без знакомых. По милости не расположенных к нему друзей его уезда, проникнутых не столько западной теорией о вреде «абсентеизма», сколько доморощенным убеждением, что «своя рубашка к телу ближе», он в 1855 году попал в ополчение и чуть не умер от тифа в Крыму, где, не видав ни одного «союзника», простоял шесть месяцев в землянке на берегу Гнилого моря; потом послужил по выборам, конечно не без неприятностей, и, пожив в деревне, пристрастился к хозяйству. Он понимал, что имение его матери, плохо и вяло управляемое его одряхлевшим отцом, не давало и десятой доли тех доходов, которые могло бы давать, и что в опытных и знающих руках оно превратилось бы в золотое дно; но он также понимал, что именно опыта и знания ему недоставало, — и он отправился за границу учиться агрономии и технологии, учиться с азбуки. Че-

тыре года с лишком провел он в Мекленбурге, в Силезии, в Карлсруэ, ездил в Бельгию, в Англию, трудился добросовестно, приобрел познания: нелегко они ему давались; но он выдержал искус до конца, и вот теперь, уверенный в самом себе, в своей будущности, в пользе, которую он принесет своим землякам, пожалуй даже всему краю, он собирается возвратиться на родину, куда с отчаянными заклинаниями и мольбами в каждом письме звал его отец, совершенно сбитый с толку эманципацией, разверстанием угодий, выкупными сделками, новыми порядками, одним словом... Но зачем же он в Бадене?

А затем он в Бадене, что он со дня на день ожидает приезда туда своей троюродной сестры и невесты — Татьяны Петровны Шестовой. Он знал ее чуть не с детства и провел с ней весну и лето в Дрездене, где она поселилась с своей теткой. Он искренно любил, он глубоко уважал свою молодую родственницу и, окончив свою темную, приговорительную работу, собираясь вступить на новое поприще, начать действительную, не коронную службу, предложил ей, как любимой женщине, как товаришу и другу, соединить свою жизнь с его жизнью — на радость и на горе, на труд и на отдых, «for better for worse»¹, как говорят англичане. Она согласилась, и он отправился в Карлсруэ, где у него оставались книги, вещи, бумаги... Но почему же он в Бадене, спросите вы опять?

А потому он в Бадене, что тетка Татьяна, ее воспитавшая, Капитолина Марковна Шестова, старая девица пятидесяти пяти лет, добродушнейшая и честнейшая чудачка, свободная душа, вся горящая огнем самопожертвования и самоотвержения; esprit fort² (она Штрауса читала — правда, тихонько от племянницы) и демократка, заклятая противница большого света и аристократии, не могла устоять против соблазна хотя разочек взглянуть на самый этот большой свет в таком модном месте, каков Баден... Капитолина Марковна ходила без кринолина и стригла в кружок свои белые волосы, но роскошь и блеск тайно волновали ее, и весело и сладко было ей бранить и презирать их... Как же было не потешить добрую старушку?

Но оттого-то Литвинов так спокоен и прост, оттого он так самоуверенно глядит кругом, что жизнь его отчетливо ясно лежит пред ним, что судьба его определилась и что он гордится этою судьбой и радуется ей, как делу рук своих.

III

— Ба! ба! ба! вот он где! — раздался вдруг над самым его ухом пискливый голос, и отекая рука потрепала его по плечу. Он поднял голову — и узрел одного из своих немногочисленных московских знако-

¹ «на хорошее и на плохое» (англ.).

² вольнодумка (франц.).

мых, некоего Бамбаева, человека хорошего, из числа пустейших, уже немолодого, с мягкими, словно разваренными щеками и носом, взъерошенными жирными волосами и дряблым тучным телом. Вечно без гроша и вечно от чего-нибудь в восторге, Ростислав Бамбаев шлялся с криком, но без цели, по лицу нашей многосносной матушки земли.

— Вот что называется встреча! — повторял он, расширяя заплывшие глаза и выдвигая пухлые губки, над которыми странно и неуместно торчали крашенные усы. — Ай да Баден! Все сюда как тараканы лезут. Как ты сюда попал?

Бамбаев «тыкал» решительно всех на свете.

— Я четвертого дня сюда приехал.

— Откуда?

— Да на что тебе знать?

— Как на что! Да постой, постой, тебе, может быть, не известно, кто еще сюда приехал? Губарев! Сам, своей особой! Вот кто здесь! Вчера из Гейдельберга прикатил. Ты, конечно, с ним знаком?

— Я слышал о нем.

— Только-то? Помилуй! Сейчас, сию минуту мы тебя к нему потащим. Этакого человека не знать! Да вот кстати и Ворошилов... По стой, ты, пожалуй, и с ним незнаком? Честь имею вас друг другу представить. Оба ученые! Этот даже феникс! Поцелуйтесь!

И, сказав эти слова, Бамбаев обратился к стоявшему возле него красивому молодому человеку с свежим и розовым, но уже серьезным лицом. Литвинов приподнялся и, разумеется, не поцеловался, а обменялся коротеньким поклоном с «фениксом», которому, судя по строгости осанки, не слишком понравилось это неожиданное представление.

— Я сказал: феникс, и не отступаю от своего слова, — продолжал Бамбаев, — ступай в Петербург, в — й корпус, и посмотри на золотую доску: чье там имя стоит первым? Ворошилова Семена Яковлевича! Но Губарев, Губарев, братцы мои!! Вот к кому бежать, бежать надо! Я решительно благоговею перед этим человеком! Да не я один, все сподряд благоговеют. Какое он теперь сочинение пишет, о... о... о!..

— О чем это сочинение? — спросил Литвинов.

— Обо всем, братец ты мой, вроде, знаешь, Бёкля... только поглубже, поглубже... Всё там будет разрешено и приведено в ясность.

— А ты сам читал это сочинение?

— Нет, не читал, и это даже тайна, которую не следует разглашать; но от Губарева всего можно ожидать, всего! Да! — Бамбаев вздохнул и сложил руки. — Что, если б еще такие две, три головы завелись у нас на Руси, ну что бы это было, господи боже мой! Скажу тебе одно, Григорий Михайлович: чем бы ты ни занимался в это последнее время, — а я и не знаю, чем ты вообще занимаешься, — какие бы ни были твои убеждения, — я их тоже не знаю, — но у него, у Губарева, ты найдешь чему поучиться. К несчастью, он здесь ненадолго. Надо воспользоваться, надо идти. К нему, к нему!

Проходивший франтик с рыжими кудряшками и голубую лентою на низкой шляпе обернулся и с язвительной усмешкой посмотрел сквозь стеклышко на Бамбаева. Литвинову досадно стало.

— Что ты кричишь? — промолвил он, — словно гончую на след накликаешь! Я еще не обедал.

— Что ж такое! Можно сейчас у Вебера... втроем... Отлично! У тебя есть деньги заплатить за меня? — прибавил он вполголоса.

— Есть-то есть; только я, право, не знаю...

— Перестань, пожалуйста; ты меня благодарить будешь, и он рад будет... Ах, боже мой! — перебил самого себя Бамбаев. — Это они финал из «Эрнани» играют. Что за прелесть!.. А som... то Carlo...¹ Экой, однако, я! Сейчас в слезы. Ну, Семен Яковлевич! Ворошилов! Идем, что ли?

Ворошилов, который всё еще продолжал стоять неподвижно и стройно, сохраняя прежнее, несколько горделивое достоинство осанки, знаменательно опустил глаза, нахмурился и промычал что-то сквозь зубы... но не отказался; а Литвинов подумал: «Что же! сделаем и это, благо время есть». Бамбаев взял его под руку, но, прежде чем направился в кофейную, кивнул пальцем Изабелле, известной цветочнице Жокей-клуба: ему вздумалось взять у ней букет. Но аристократическая цветочница не пошевелинулась; да и с какой стати было ей подходить к господину без перчаток, в запачканной плисовой куртке, пестром галстуке и стоптанных сапогах, которого она и в Париже-то никогда не видала? Тогда Ворошилов в свою очередь кивнул ей пальцем. К нему она подошла, и он, выбрав в ее коробке крошечный букет фиалок, бросил ей гульден. Он думал удивить ее своею щедростью; но она даже бровью не повела и, когда он от нее отвернулся, презрительно скорчила свои стиснутые губы. Одет Ворошилов был очень щегольски, даже изысканно, но опытный глаз парижанки тотчас подметил в его туалете, в его турнюре, в самой его походке, носившей следы рановойременной военной выправки, отсутствие настоящего, чистокровного «шику».

Усевшись у Вебера в главной зале и заказав обед, знакомцы наши вступили в разговор. Бамбаев громко и с жаром потолковал о высоком значении Губарева, но скоро умолк и, шумно вздыхая и жуя, хлопал стакан за стаканом. Ворошилов пил и ел мало, словно нехотя, и, расспросив Литвинова о роде его занятий, принялся высказывать собственные мнения... не столько об этих занятиях, сколько вообще о различных «вопросах»... Он вдруг оживился и так и помчался, как добрый конь, лихо и резко отчеканивая каждый слог, каждую букву, как молодец-кадет на выпускном экзамене, и сильно, но не в лад размахивая руками. С каждым мгновением он становился всё речистей, всё бойчей, благо никто его не прерывал: он словно читал диссертацию или лекцию. Имена новейших ученых, с прибавлением года рождения или

¹ Великому Карлу... (итал.).

смерти каждого из них, заглавия только что вышедших брошюр, вообще имена, имена, имена — дружно посыпались с его языка, доставляя ему самому высокое наслаждение, отражавшееся в его запыхавших глазах. Ворошилов, видимо, презирал всякое старье, дорожил одними сливками образованности, последнюю, передовую точкой науки; упомянуть, хотя бы некстати, о книге какого-нибудь доктора Зауэрбенгеля о пенсильванских тюрьмах или о вчерашней статье в «Азиатик джёрнал» о Ведах и Пуранах (он так и сказал: «Джёрнал», хотя, конечно, не знал по-английски) — было для него истинною отрадой, благополучием. Литвинов слушал его, слушал и никак не мог понять, какая же собственно его специальность? То он вел речь о роли кельтского племени в истории, то его уносило в древний мир и он рассуждал об эгинских мраморах, напряженно толковал о жившем до Фидиаса ваятеле Онатасе, который, однако, превращался у него в Ионатана и тем на миг наводил на всё его рассуждение не то библейский, не то американский колорит; то он вдруг перескакивал в политическую экономию и называл Бастиа дураком и деревяшкой, «не хуже Адама Смита и всех физиократов...» — «Физиократов! — прошептал ему вслед Бамбаев... — Аристократов?..» Между прочим Ворошилов вызвал выражение изумления на лице того же самого Бамбаева небрежно и вскользь кинутым замечанием о Маколее как о писателе устарелом и уже опереженном наукой; что же до Гнейста и Рилия, то он объявил, что их стоит только назвать, и пожал плечами. Бамбаев также плечами пожал. «И всё это разом, безо всякого повода, перед чужими, в кофейной, — размышлял Литвинов, глядя на белокурые волосы, светлые глаза, белые зубы своего нового знакомого (особенно смущали его эти крупные сахарные зубы да еще эти руки с их неладным размахом), — и не улыбнется ни разу; а со всем тем, должно быть, добрый малый и крайне неопытный...» Ворошилов угомонился, наконец; голос его, юношески звонкий и хриплый, как у молодого петуха, слегка порвался... Кстати ж Бамбаев начал декламировать стихи и опять чуть не заплакался, что произвело впечатление скандала за одним соседним столом, около которого поместилось английское семейство, и хихиканье за другим: две лоретки обедали за этим вторым столом с каким-то престарелым младенцем в лиловом парике. Кельнер принес счет; приятели расплатились.

— Ну, — воскликнул Бамбаев, грузно приподнимаясь со стула, — теперь чашку кофе и марш! Вон она, однако, наша Русь, — прибавил он, остановившись в дверях и чуть не с восторгом указывая своей мягкой, красною рукой на Ворошилова и Литвинова... — Какова?

«Да, Русь», — подумал Литвинов; а Ворошилов, который уже опять успел придать лицу своему сосредоточенное выражение, снисходительно улыбнулся и слегка шелкнул каблуками.

Минут через пять они все трое поднимались вверх по лестнице гостиной, где остановился Степан Николаевич Губарев... Высокая стройная дама в шляпке с короткою черною вуалеткой прворно спус-

калась с той же лестницы и, увидав Литвинова, внезапно обернулась к нему и остановилась, как бы пораженная изумлением. Лицо ее мгновенно вспыхнуло и потом так же быстро побледнело под частой сеткой кружева; но Литвинов ее не заметил, и дама проворнее прежнего побежала вниз по широким ступеням.

IV

— Григорий Литвинов, рубашка-парень, русская душа, рекомендую, — воскликнул Бамбаев, подводя Литвинова к человеку небольшого роста и помещичьего склада, с расстегнутым воротом, в куртке, серых утренних панталонах и в туфлях, стоявшему посреди светлой, отлично убранной комнаты, — а это, — прибавил он, обращаясь к Литвинову, — это он, тот самый, понимаешь? Ну, Губарев, одним словом.

Литвинов с любопытством уставился на «того самого». На первый раз он не нашел в нем ничего необыкновенного. Он видел перед собою господина наружности почтенной и немного туповатой, лобастого, глазастого, губастого, бородастого, с широкою шеей, с косвенным, вниз устремленным взглядом. Этот господин осклабился, промолвил: «Ммм... да... это хорошо... мне приятно...» — поднес руку к собственному лицу и, тотчас же, повернувшись к Литвинову спиной, ступил несколько раз по ковру, медленно и странно переваливаясь, как бы крадучись. У Губарева была привычка постоянно расхаживать взад и вперед, то и дело подергивая и почесывая бороду концами длинных и твердых ногтей. Кроме Губарева, в комнате находилась еще одна дама в шелковом поношенном платье, лет пятидесяти, с чрезвычайно подвижным, как лимон желтым лицом, черными волосиками на верхней губе и быстрыми, словно выскочить готовыми глазами, да еще какой-то плотный человек сидел, сгорбившись, в уголку.

— Ну-с, почтенная Матрена Семеновна, — начал Губарев, обращаясь к даме и, видно, не считая нужным знакомить ее с Литвиновым, — что бишь вы начали нам рассказывать?

Дама (ее звали Матреной Семеновной Суханчиковой, она была вдова, бездетная, небогатая, и второй уже год странствовала из края в край) заговорила тотчас с особенным, ожесточенным увлечением:

— Ну, вот он и является к князю, и говорит ему: Ваше сиятельство, говорит, вы в таком сани и в таком звании, говорит, что вам стоит облегчить мою участь? Вы, говорит, не можете не уважать чистоту моих убеждений! И разве можно, говорит, в наше время преследовать за убеждения? И что ж, вы думаете, сделал князь, этот образованный, высокопоставленный сановник?

— Ну, что он сделал? — промолвил Губарев, задумчиво закуривая папироску.

Дама выпрямилась и протянула вперед свою костлявую правую руку с отделенным указательным пальцем.

— Он призвал своего лакея и сказал ему: «Сними ты сейчас с этого человека сюртук и возьми себе. Я тебе дарю этот сюртук!»

— И лакей снял? — спросил Бамбаев, всплеснув руками.

— Снял и взял. И это сделал князь Барнаулов, известный богач, вельможа, облеченный особенною властью, представитель правительства! Что ж после этого еще ожидать?

Всё тщедушное тело г-жи Суханчиковой тряслось от негодования, по лицу пробегали судороги, чахлая грудь порывисто колыхалась под плоским корсетом; о глазах уже и говорить нечего: они так и прыгали. Впрочем, они всегда прыгали, о чем бы она ни говорила.

— Вопиющее, вопиющее дело! — воскликнул Бамбаев. — Казни нет достойной!

— Ммм... ммм... Сверху донизу всё гнило, — заметил Губарев, не возвышая, впрочем, голоса. — Тут не казнь... тут нужна... другая мера.

— Да полно, правда ли это? — промолвил Литвинов.

— Правда ли? — подхватила Суханчикова. — Да в этом и думать нельзя сомневаться, д-у-у-у-мать нельзя... — Она с такою силою произнесла это слово, что даже скорчилась. — Мне это сказывал один вернейший человек. Да вы его, Степан Николаевич, знаете — Елистратов Капитон. Он сам это слышал от очевидцев, от свидетелей этой безобразной сцены.

— Какой Елистратов? — спросил Губарев. — Тот, что был в Казани?

— Тот самый. Я знаю, Степан Николаич, про него распустили слух, будто он там с каких-то подрядчиков или винокуров деньги брал. Да ведь кто это говорит? Пеликанов! А возможно ли Пеликанову верить, когда всем известно, что он просто — шпион!

— Нет, позвольте, Матрена Семеновна, — вступился Бамбаев, — я с Пеликановым приятель; какой же он шпион?

— Да, да, именно шпион!

— Да постойте, помилуйте...

— Шпион, шпион! — кричала Суханчикова.

— Да нет же, нет, постойте; я вам что скажу, — кричал в свою очередь Бамбаев.

— Шпион, шпион! — твердила Суханчикова.

— Нет, нет! Вот Тентелеев, это другое дело! — заревел Бамбаев уже во всё горло.

Суханчикова мгновенно умолкла.

— Про этого барина я достоверно знаю, — продолжал он обыкновенным своим голосом, — что когда Третье отделение его вызывало, он у графини Блазенкрампф в ногах ползал и всё пищал: «Спасите, заступитесь!» А Пеликанов никогда до такой подлости не унижался.

— Мм... Тентелеев... — проворчал Губарев, — это... это заметить надо.

Суханчикова презрительно пожала плечом.

— Оба хороши, — заговорила она, — но только я про Тентелеева еще лучше анекдот знаю. Он, как всем известно, был ужаснейший тиран со своими людьми, хотя тоже выдавал себя за эманципатора. Вот он раз в Париже сидит у знакомых, и вдруг входит мадам Бичер-Стоу, — ну, вы знаете, «Хижина дяди Тома». Тентелеев, человек ужасно чванливый, стал просить хозяина представить его; но та, как только услышала его фамилию: «Как? — говорит, — сметь знакомиться с автором Дяди Тома? — Да хлоп его по щеке! — Вон! — говорит, — сейчас!» И что ж вы думаете? Тентелеев взял шляпу да, поджавши хвост, и улизнул.

— Ну, это, мне кажется, преувеличено, — заметил Бамбаев. «Вон!» она ему точно сказала, это факт; но пощечины она ему не дала.

— Дала пощечину, дала пощечину! — с судорожным напряжением повторила Суханчикова, — я не стану пустяков говорить. И с такими людьми вы приятель!

— Позвольте, позвольте, Матрена Семеновна, я никогда не выдавал Тентелеева за близкого мне человека; я про Пеликанова говорил.

— Ну, не Тентелеев, так другой: Михнев, например.

— Что же этот такое сделал? — спросил Бамбаев, уже заранее оробев.

— Что? Будто вы не знаете? На Вознесенском проспекте всенародно кричал, что надо, мол, всех либералов в тюрьму; а то еще к нему приходил старый пансионский товарищ, бедный, разумеется, и говорит: «Можно у тебя пообедать?» А тот ему в ответ: «Нет, нельзя; у меня два графа сегодня обедают... п'шол прочь!»

— Да это клевета, помилуйте! — возопил Бамбаев.

— Клевета?... клевета? Во-первых, князь Вахрушкин, который тоже обедал у вашего Михнзва...

— Князь Вахрушкин, — строго вмешался Губарев, — мне двоюродный брат; но я его к себе не пускаю... Ну, и упоминать о нем, стало быть, нечего.

— Во-вторых, — продолжала Суханчикова, покорно наклонив голову в сторону Губарева, — Мне сама Прасковья Яковлевна сказала.

— Нашли на кого сослаться! Она да вот еще Саркизов— это первые выдумщики.

— Ну-с, извините; Саркизов лгун, точно; он же с мертвого отца парчевой покров стащил, об этом я спорить никогда не стану; но Прасковья Яковлевна, какие сравнения! Вспомните, как она благородно с мужем разошлась! Но вы, я знаю, вы всегда готовы...

— Ну полноте, полноте, Матрена Семеновна, — перебил ее Бамбаев. — Бросимте эти дрызги и воспаримте-ка в горния. Я ведь старого закала кочерга. Читали вы «Mademoiselle de la Quintinie?» Вот прелесть-то! И с принципами вашими в самый раз!

— Я романов больше не читаю, — сухо и резко отвечала Суханчикова.

— Отчего?

— Оттого что теперь не то время; у меня теперь одно в голове: швейные машины.

— Какие машины? — спросил Литвинов.

— Швейные, швейные; надо всем, всем женщинам запастись швейными машинами и составлять общества; этак они все будут хлеб себе зарабатывать и вдруг независимы станут. Иначе они никак освободиться не могут. Это важный, важный социальный вопрос. У нас такой об этом был спор с Болéслав Стадницким. Болéслав Стадницкий чудная натура, но смотрит на эти вещи ужасно легкомысленно. Всё смеется... Дурак!

— Все будут в свое время потребованы к отчету, со всех взыщется, — медленно, не то наставническим, не то пророческим тоном произнес Губарев.

— Да, да, — повторил Бамбаев, — взыщется, именно взыщется. А что, Степан Николаич, — прибавил он, понизив голос, — сочинение подвигается?

— Материалы собираю, — отвечал, насупившись, Губарев и, обратившись к Литвинову, у которого голова начинала ходить кругом от этой яичницы незнакомых ему имен, от этого бешенства сплетни, спросил его: чем он занимается?

Литвинов удовлетворил его любопытству.

— А! Значит, естественными науками. Это полезно как школа; как школа, не как цель. Цель теперь должна быть... мм... должна быть... другая. Вы, позвольте узнать, каких придерживаетесь мнений?

— Каких мнений?

— Да, то есть собственно какие ваши политические убеждения?

Литвинов улыбнулся.

— Собственно у меня нет никаких политических убеждений.

Плотный человек, сидевший в углу, при этих словах внезапно поднял голову и внимательно посмотрел на Литвинова.

— Что так? — промолвил с странною кротостью Губарев. — Не вдумались еще или уже устали?

— Как вам сказать? Мне кажется, нам, русским, еще рано иметь политические убеждения или воображать, что мы их имеем. Заметьте, что я придаю слову «политический» то значение, которое принадлежит ему по праву, и что...

— Ага! из недозрелых, — с тою же кротостью перебил его Губарев и, подойдя к Ворошилову, спросил его: прочел ли он брошюру, которую он ему дал?

Ворошилов, который, к удивлению Литвинова, с самого своего прихода словечка не проронил, а только хмурился и значительно поводил глазами (он вообще либо ораторствовал, либо молчал), — Ворошилов выпятил по-военному грудь и, шелкнув каблуками, кигнул утвердительно головой.

— Ну, и что ж? Остались довольны?

НОВЬ

«Поднимать следует новь не поверхностно скользящей сохой, но глубоко забирающим плугом».

Из записок хозяина-агронома.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

I

Весною 1868 года, часу в первом дня, в Петербурге, взбирался по черной лестнице пятиэтажного дома в Офицерской улице человек лет двадцати семи, небрежно и бедно одетый. Тяжело шлепая стоптанными калошами, медленно покачивая грузное, неуклюжее тело, человек этот достигнул наконец самого верха лестницы, остановился перед оборванной полураскрытой дверью и, не позвонив в колокольчик, а только шумно вздохнув, ввалился в небольшую темную переднюю.

— Нежданов дома? — крикнул он густым и громким голосом.

— Его нет — я здесь, войдите, — раздался в соседней комнате другой, тоже довольно грубоватый, женский голос.

— Машурина? — переспросил новоприбывший.

— Она самая и есть. А вы — Остродумов?

— Пимен Остродумов, — отвечал тот и, старательно сняв сперва калоши, а потом повесив на гвоздь ветхую шинелишку, вошел в комнату, откуда раздался женский голос.

Низкая, неопрятная, со стенами, выкрашенными мутно-зеленой краской, комната эта едва освещалась двумя запыленными окошками. Только и было в ней мебели, что железная кроватька в углу, да стол посередине, да несколько стульев, да этажерка, заваленная книгами. Возле стола сидела женщина лет тридцати, простоволосая, в черном шерстяном платье, и курила папирску. Увидев вошедшего Остродумова, она молча подала ему свою широкую красную руку. Тот так же молча пожал ее и, опустившись на стул, достал из бокового кармана полусломанную сигару. Машурина дала ему огня — он закурил, и оба, не говоря ни слова и даже не меняясь взглядами, принялись пускать струйки синеватого дыма в тусклый воздух комнаты, уже без того достаточно пропитанный им.

В обоих курильщиках было нечто общее, хотя чертами лица они не походили друг на друга. В этих неряшливых фигурах, с крупными гу-

бами, зубами, носами (Остродумов к тому же еще был ряб), сказывалось что-то честное, и стойкое, и трудолюбивое.

— Видели вы Нежданова? — спросил наконец Остродумов.

— Видела; он сейчас придет. Книги в библиотеку понес.

Остродумов сплюнул в сторону.

— Что это он всё бегать стал? Никак его не поймаешь.

Машурина достала другую папиросу.

— Скучает, — промолвила она, тщательно ее разжигая.

— Скучает! — повторил с укоризной Остродумов. — Вот баловство!

Подумаешь, занятий у нас с ним нету. Тут дай бог все дела обломать как следует — а он скучает!

— Письмо из Москвы пришло? — спросила Машурина погодя немного.

— Пришло... третьего дня.

— Вы читали?

Остродумов только головой качнул.

— Ну... и что же?

— Что? Скоро ехать надо будет.

Машурина вынула папиросу изо рта.

— Это отчего же? Там, слышно, идет всё хорошо.

— Идет своим порядком. Только человек один подвернулся ненадежный. Так вот... сместить его надо; а не то и вовсе устранить. Да и другие есть дела. Вас тоже зовут.

— В письме?

— Да; в письме.

Машурина встряхнула своими тяжелыми волосами. Небрежно скрученные сзади в небольшую косу, они спереди падали ей на лоб и на брови.

— Ну, что ж! — промолвила она, — коли выйдет распоряжение — рассуждать тут нечего!

— Известно, нечего. Только без денег никак нельзя; а где их взять, самые эти деньги?

Машурина задумалась.

— Нежданов должен достать, — проговорила она вполголоса, словно про себя.

— Я за этим самым и пришел, — заметил Остродумов.

— Письмо с вами? — спросила вдруг Машурина.

— Со мной. Хотите прочесть?

— Дайте... или нет, не нужно. Вместе прочтем... после.

— Верно говорю, — пробурчал Остродумов, — не сомневайтесь.

— Да я и не сомневаюсь.

И оба затихли опять, и только струйки дыма по-прежнему бежали из их безмолвных уст и поднимались, слабо змеясь, над их волосистыми головами.

В передней раздался стук калош.

— Вот он! — шепнула Машурина.

Дверь слегка приотворилась, и в отверстие просунулась голова — но только не голова Нежданова.

То была круглая головка с черными, жесткими волосами, с широким морщинистым лбом, с карими, очень живыми глазками под густыми бровями, с утиным, кверху вздернутым носом и маленьким розовым, забавно сложенным ртом. Головка эта осматрелась, закивала, засмеялась — причем выказала множество крошечных белых зубков — и вошла в комнату вместе со своим тщедушным туловищем, короткими ручками и немного кривыми, немного хромыми ножками. И Машурина и Остродумов, как только увидели эту головку, оба выразили на лицах своих нечто вроде снисходительного презрения, точно каждый из них внутренне произнес: «А! *этом!*» — и не проронили ни единого слова, даже не пошевелинулись. Впрочем, оказанный ему прием не только не смутил новопоявившегося гостя, но, кажется, доставил ему некоторое удовлетворение.

— Что сие означает? — произнес он пискливым голоском. — Дуэт! Отчего же не трио? И где же главный тенор?

— Вы это о Нежданове любопытствуете, г-н Паклин? — проговорил с серьезным видом Остродумов.

— Точно так, г-н Остродумов: о нем.

— Он, вероятно, скоро прибудет, г-н Паклин.

— Это очень приятно слышать, г-н Остродумов.

Хроменький человек обратился к Машуриной. Она сидела насупившись и продолжала, не спеша, попыхивать из папироски.

— Как вы поживаете, любезнейшая... любезнейшая... Ведь вот как это досадно! Всегда я забываю, как вас по имени и по отчеству!

Машурина пожала плечами.

— И совсем это не нужно знать! Вам моя фамилия известна. Чего же больше! И что за вопрос: как вы поживаете? Разве вы не видите, что я живу?

— Совершенно, совершенно справедливо! — воскликнул Паклин, раздувая ноздри и подергивая бровями, — не были бы вы живы — ваш покорный слуга не имел бы удовольствия вас здесь видеть и беседовать с вами! Припишите мой вопрос застарелой дурной привычке. Вот и насчет имени и отчества... Знаете: как-то неловко говорить прямо: Машурина! Мне, правда, известно, что вы и под письмами вашими иначе не подписываетесь, как Бонапарт! — то бишь: Машурина! Но все-таки в разговоре...

— Да кто вас просит со мной разговаривать?

Паклин засмеялся нервически, как бы захлебываясь.

— Ну, полноте, милая, голубушка, дайте вашу руку, не сердитесь, ведь я знаю: вы предобрая — и я тоже добрый... Ну?..

Паклин протянул руку... Машурина посмотрела на него мрачно — однако подала ему свою.

— Если вам непременно нужно знать мое имя, — промолвила она всё с тем же мрачным видом, — извольте: меня зовут Феклой.

— А меня — Пименом, — прибавил басом Остродумов.

— Ах! это очень... очень поучительно! Но в таком случае скажите мне, о Фекла! и вы, о Пимен! скажите мне, отчего вы оба так недружелюбно, так постоянно недружелюбно относитесь ко мне, между тем как я...

— Машурина находит, — перебил Остродумов, — и не она одна это находит, что так как вы на все предметы смотрите с их смешной стороны, то и положиться на вас нельзя.

Паклин круто повернулся на каблуках.

— Вот она, вот постоянная ошибка людей, которые обо мне судят, почтеннейший Пимен! Во-первых, я не всегда смеюсь, а во-вторых — это ничему не мешает и положиться на меня можно, что и доказывается лестным доверием, которым я не раз пользовался в ваших же рядах! Я честный человек, почтеннейший Пимен!

Остродумов промычал что-то сквозь зубы, а Паклин покачал головой и повторил уже без всякой улыбки:

— Нет! я не всегда смеюсь! Я вовсе не веселый человек! Вы посмотрите-ка на меня!

Остродумов посмотрел на него. Действительно, когда Паклин не смеялся, когда он молчал, лицо его принимало выражение почти унылое, почти запуганное; оно становилось забавным и даже злым, как только он раскрывал рот. Остродумов, однако, ничего не сказал.

Паклин снова обратился к Машуриной:

— Ну, а учение как подвигается? Делаете вы успехи в вашем истинно человеколюбивом искусстве? Чай, штука трудная — помогать неопытному гражданину при его первом вступлении на свет божий?

— Ничего, труда нет, коли он немного больше вас ростом, — ответила Машурина, только что сдавшая экзамен на повивальную бабушку, и самодовольно ухмыльнулась.

Года полтора тому назад она, бросив свою родную, дворянскую, небогатую семью в южной России, прибыла в Петербург с шестью целковыми в кармане; поступила в родовспомогательное заведение и безустанным трудом добилась желанного аттестата. Она была девица... и очень целомудренная девица. Дело не удивительное! — скажет иной скептик, вспомнив то, что было сказано об ее наружности. Дело удивительное и редкое — позволим себе сказать мы.

Услышав ее отповедь, Паклин снова рассмеялся.

— Вы молодец, моя милая! — воскликнул он. — Славно меня отбрили! Поделом мне! Зачем я таким карликом остался! Однако где же это пропадает наш хозяин?

Паклин не без умысла переменял предмет разговора. Он никак не мог помириться с крохотным своим ростом, со всей своей невзрачной фигуркой. Это было ему тем чувствительнее, что он страстно любил

женщин. Чего бы он не дал, чтоб нравиться им! Сознание своей мизерной наружности гораздо большее грызло его, чем его низменное происхождение, чем незавидное положение его в обществе. Отец Паклина был простой мещанин, дослужившийся всякими неправдами до чина титулярного советника, ходок по тяжёлым делам, аферист. Он управлял имениями, домами и зашиб-таки копейку; но сильно пил под конец жизни и ничего не оставил после своей смерти. Молодой Паклин (звали его: Сила... Сила Самсоныч, что он также считал насмешкой над собою) воспитывался в коммерческом училище, где отлично выучился немецкому языку. После различных, довольно тяжёлых передраг он попал наконец в частную контору на 1500 рублей серебром годового содержания. Этими деньгами он кормил себя, большую тетку да горбатую сестру. Во время нашего рассказа ему только что пошел двадцать восьмой год. Паклин знался со множеством студентов, молодых людей, которым он нравился своей цинической бойкостью, веселой желчью самоуверенной речи, односторонней, но несомненной начитанностью, без педантизма. Лишь изредка ему доставалось от них. Раз он как-то опоздал на политическую сходку... Войдя, он тотчас начал торопливо извиняться... «Трусоват был Паклин бедный», — запел кто-то в углу — и все расхохотались. Паклин наконец засмеялся сам, хоть и скребло у него на сердце. «Правду сказал, мошенник!» — подумал он про себя. С Неждановым он познакомился в греческой кухмистерской, куда ходил обедать и где выражал подчас весьма свободные и резкие мнения. Он уверял, что главной причиной его демократического настроения была скверная греческая кухня, которая раздражала его печень.

— Да... именно... где пропадает наш хозяин? — повторил Паклин. — Я замечаю: он с некоторых пор словно не в духе. Уж не влюблен ли он, боже сохрани!

Машурина нахмурилась.

— Он пошел в библиотеку за книгами, а влюбляться ему некогда и не в кого.

«А в вас?» — чуть было не сорвалось с губ у Паклина.

— Я потому желаю его видеть, — промолвил он громко, — что мне нужно переговорить с ним по одному важному делу.

— По какому это делу? — вмешался Остродумов. — По нашему?

— А может быть, и по вашему... то есть по нашему, общему.

Остродумов хмыкнул. В душе он усомнился, но тут же подумал: «А чёрт его знает! Вишь он какой пролаз!»

— Да вот он идет наконец, — проговорила вдруг Машурина — и в ее маленьких некрасивых глазах, устремленных на дверь передней, промелькнуло что-то теплое и нежное, какое-то светлое, глубокое, внутреннее пятнышко...

Дверь открылась — и на этот раз, с картузом на голове, со связкой книг под мышкой, вошел молодой человек лет двадцати трех, сам Нежданов.

II

При виде гостей, находившихся в его комнате, он остановился на пороге двери, обвел их всех глазами, сбросил картуз, уронил книги прямо на пол — и, молча добравшись до кровати, прикорнул на ее крае. Его красивое белое лицо, казавшееся еще белее от темно-красного цвета волнистых рыжих волос, выражало неудовольствие и досаду.

Машурина слегка отвернулась и закусила губу; Остродумов проворчал:

— Наконец-то!

Паклин первый приблизился к Нежданову.

— Что с тобой, Алексей Дмитриевич, российский Гамлет? Огорчил кто тебя? Или так — без причины — взгрустнулось?

— Перестань, пожалуйста, российский Мефистофель, — отвечал раздраженно Нежданов. — Мне не до того, чтобы препираться с тобой плоскими островами.

Паклин засмеялся.

— Ты неточно выражаешься: коли остро, так не плоско, коли плоско, так не остро.

— Ну, хорошо, хорошо... Ты, известно, умница.

— А ты в нервозном состоянии, — произнес с расстановкою Паклин. — Али в самом деле что случилось?

— Ничего не случилось особенного; а случилось то, что нельзя носа на улицу высунуть в этом гадком городе, в Петербурге, чтоб не наткнуться на какую-нибудь пошлость, глупость, на безобразную несправедливость, на чепуху! Жить здесь больше невозможно.

— То-то ты в газетах публиковал, что ищешь кондиции и согласен на отъезд, — проворчал опять Остродумов.

— И, конечно, с величайшим удовольствием уеду отсюда! Лишь бы нашелся дурак — место предложил!

— Сперва надо *здесь* свою обязанность исполнить, — значительно проговорила Машурина, не переставая глядеть в сторону.

— То есть? — спросил Нежданов, круто обернувшись к ней. Машурина стиснула губы.

— Вам Остродумов скажет.

Нежданов обернулся к Остродумову. Но тот только крикнул и откашлялся: погоди, мол.

— Нет, не шутя, в самом деле, — вмешался Паклин, — ты узнал что-нибудь, неприятность какую?

Нежданов подскочил на постели, словно его что подбросило.

— Какая тебе еще неприятность нужна? — закричал он внезапно зазвеневшим голосом. — Пол-России с голода умирает, «Московские ведомости» торжествуют, классицизм хотят ввести, студенческие кассы запрещаются, везде шпионство, притеснения, доносы, ложь и фальшь — шагу нам ступить некуда... а ему всё мало, он ждет еще но-

вой неприятности, он думает, что я шучу... Басанова арестовали, — прибавил он, несколько понизив тон, — мне в библиотеке сказывали.

Остродумов и Машурина оба разом приподняли головы.

— Любезный друг, Алексей Дмитриевич, — начал Паклин, — ты взволнован — дело понятное... Да разве ты забыл, в какое время и в какой стране мы живем? Ведь у нас утопающий сам должен сочинить ту соломинку, за которую ему приходится ухватиться! Где уж тут миндальничать?! Надо, брат, чёрту в глаза уметь смотреть, а не раздражаться по-ребячьи...

— Ах, пожалуйста, пожалуйста! — перебил тоскливо Нежданов и даже сморщился, славно от боли. — Ты, известное дело, энергический мужчина — ты ничего и никого не боишься...

— Я-то никого не боюсь?! — начал было Паклин.

— Кто только мог выдать Басанова? — продолжал Нежданов, — не понимаю!

— А известное дело — приятель. Они на это молодцы, приятели-то. С ними держи ухо востро! Был у меня, например, приятель — и, казалось, хороший человек: так обо мне заботился, о моей репутации! Бывало, смотришь: идет ко мне... «Представьте, кричит, какую об вас глупую клевету распустили: уверяют, что вы вашего родного дядошку отравили, что вас ввели в один дом, а вы сейчас к хозяйке сели спиной — и так весь вечер и просидели! И уж плакала она, плакала от обиды! Ведь этакая чепуха! этакая нелепица! Какие дураки могут этому поверить!» — И что же? Год спустя рассорился я с этим самым приятелем... И пишет он мне в своем прощальном письме: «Вы, который уморили своего дядю! Вы, который не устыдились оскорбить почтенную даму, свесив к ней спиной!..» — и т. д. и т. д. — Вот каковы приятели!

Остродумов переглянулся с Машуриной.

— Алексей Дмитриевич! — брякнул он своим тяжелым басом, — он явно желал прекратить возникавшее бесполезное словоизвержение, — от Василия Николаевича письмо из Москвы пришло.

Нежданов слегка дрогнул и потупился.

— Что он пишет? — спросил он наконец.

— Да вот... нам вот с ней... — Остродумов указал бровями на Машурина, — ехать надо.

— Как? и ее зовут?

— Зовут и ее.

— За чем же дело стало?

— Да известно за чем... за деньгами.

Нежданов поднялся с кровати и подошел к окну.

— Много нужно?

— Пятьдесят рублей... Меньше нельзя.

Нежданов помолчал.

— У меня теперь их нет, — прошептал он наконец, постукивая пальцами по стеклу, — но... я могу достать. Я достану. Письмо у тебя?

— Письмо-то? Оно... то есть... конечно...

— Да что вы всё от меня хоронитесь? — воскликнул Паклин. — Неужто я не заслужил вашего доверия? Если бы я даже не вполне сочувствовал... тому, что вы предпринимаете, — неужто же вы полагаете, что я в состоянии изменить или разболтать?

— Без умысла... пожалуй! — пробасил Остродумов.

— Ни с умыслом, ни без умысла! Вот г-жа Машурина глядит на меня и улыбается... а я скажу...

— Я нисколько не улыбаюсь, — окрысилась Машурина.

— А я скажу, — продолжал Паклин, — что у вас, господа, чутья нет; что вы не умеете различить, кто ваши настоящие друзья! Человек смеется — вы и думаете: он несерьезный...

— А то небось нет? — вторично окрысилась Машурина.

— Вы вот, например, — подхватил с новой силой Паклин, на этот раз даже не возражая Машуриной, — вы нуждаетесь в деньгах... а у Нежданова их теперь нет... Так я могу дать.

Нежданов быстро отвернулся от окна.

— Нет... нет... это к чему же? Я достану... Я возьму часть пенсии вперед... Помните, *они* остались мне должны. А вот что, Остродумов: покажи-ка письмо.

Остродумов остался сперва некоторое время неподвижным, потом осмотрелся кругом, потом встал, нагнулся всем телом и, засучив панталоны, вытащил из-за голенища сапога тщательно сложенный клочок синей бумаги; вытащив этот клочок, неизвестно зачем подул на него и подал Нежданову.

Тот взял бумажку, развернул ее, прочел внимательно и передал Машуриной. Та сперва встала со стула, потом тоже прочла и возвратила бумажку Нежданову, хотя Паклин протягивал за нею руку. Нежданов пожал плечом и передал таинственное письмо Паклину. Паклин в свою очередь пробежал глазами бумажку и, многозначительно сжав губы, торжественно и тихо положил ее на стол. Тогда Остродумов взял ее, зажег большую спичку, распространившую сильный запах серы, и сперва высоко поднял бумажку над головой, как бы показывая ее всем присутствовавшим, сжег ее догла на спичке, не щадя своих пальцев, и бросил пепел в печку. Никто не произнес слова, никто даже не пошевелился в течение этой операции. Глаза у всех были опущены. Остродумов имел вид сосредоточенный и дельный, лицо Нежданова казалось злым, в Паклине проявилось напряжение; Машурина — священнодействовала.

Так прошло минуты две... Потом всем стало немного неловко. Паклин первый почувствовал необходимость нарушить безмолвие.

— Так что же? — начал он. — Принимается моя жертва на алтарь отечества или нет? Позволяется мне поднести если не все пятьдесят, то хоть двадцать пять или тридцать рублей на общее дело?

Нежданов вдруг вспыхнул весь. Казалось, в нем накипела досада... Торжественное сжигание письма ее не уменьшило — она ждала только предлога, чтобы вырваться наружу.

— Я уже сказал тебе, что это не нужно, не нужно... не нужно! Я этого не допущу и не приму. Я достану деньги, я сейчас же их достану. Я не нуждаюсь ни в чьей помощи!

— Ну, брат, — промолвил Паклин, — я вижу: ты хоть и революционер, а не демократ!

— Скажи прямо, что я аристократ!

— Да ты и точно аристократ... до некоторой степени.

Нежданов принужденно засмеялся.

— То есть ты хочешь намекнуть на то, что я незаконный сын. Неправно трудишься, любезный... Я и без тебя этого не забываю.

Паклин всплеснул руками.

— Алеша, помилуй, что с тобой! Как можно так понимать мои слова! Я не узнаю тебя сегодня. — Нежданов сделал нетерпеливое движение головой и плечами. — Арест Басанова тебя расстроил, но ведь он сам так неосторожно вел себя...

— Он не скрывал своих убеждений, — сумрачно вмешалась Машурин, — не нам его осуждать!

— Да; только ему следовало бы тоже подумать о других, которых он теперь скомпрометировать может.

— Почему вы так о нем полагаете?.. — загудел в свою очередь Остродумов. — Басанов человек с характером твердым; он никого не выдаст. А что до осторожности... знаете что? Не всякому дано быть осторожным, г-н Паклин!

Паклин обиделся и хотел было возразить, но Нежданов остановил его.

— Господа! — воскликнул он, — сделайте одолжение, бросимте на время политику!

Наступило молчание.

— Я сегодня встретил Скоропихина, — заговорил наконец Паклин, — нашего всероссийского критика, и эстетика, и энтузиаста. Что за несносное создание! Вечно закипает и шипит, ни дать ни взять бутылка дрянных кислых щей... Половой на бегу заткнул ее пальцем вместо пробки, в горлышке застрял пухлый изюм — она всё брызжет и свистит, а как вылетит из нее вся пена — на дне остается всего несколько капель прескверной жидкости, которая не только не утоляет ничьей жажды, но причиняет одну лишь резь... Превредный для молодых людей индивидууй!

Сравнение, употребленное Паклиным, хотя верное и меткое, не вызвало улыбки ни на чьем лице. Один Остродумов заметил, что о молодых людях, которые способны интересоваться эстетикой, жалеть нечего, даже если Скоропихин и собьет их с толку.

— Но помилуйте, постойте, — воскликнул с жаром Паклин, — он тем более горячился, чем менее встречал себе сочувствия, — тут вопрос, положим, не политический, но все-таки важный. Послушать Скоропихина, всякое старое художественное произведение уж по тому самому не годится никуда, что оно старо... Да в таком случае ху-

дожество, искусство вообще — не что иное, как мода, и говорить серьезно о нем не стоит! Если в нем нет ничего незыблемого, вечного — так чёрт с ним! В науке, в математике, например: не считаете же вы Эйлера, Лапласа, Гаусса за отживших пошляков? Вы готовы признать их авторитет, а Рафаэль или Моцарт — дураки? И ваша гордость возмущается против их авторитета? Законы искусства труднее уловить, чем законы науки... согласен; но они существуют — и кто их не видит, тот слепец; добровольный или недобровольный — всё равно!

Паклин умолк... и никто ничего не промолвил, точно все в рот воды набрали — точно всем было немножко совестно за него. Один Остродумов проворчал:

— И всё-таки я тех молодых людей, которых сбивает Скоропихин, нисколько не жалею.

«А ну вас с богом! — подумал Паклин. — Уйду!»

Он пришел было к Нежданову с тем, чтобы сообщить ему свои соображения насчет доставки «Полярной звезды» из-за границы («Колокол» уже не существовал), но разговор принял такой оборот, что лучше было и не поднимать этого вопроса. Паклин уже взялся за шапку; как вдруг, без всякого предварительного шума и стука, в передней раздался удивительно приятный, мужественный и сочный баритон, от самого звука которого веяло чем-то необыкновенно благородным, благовоспитанным и даже благоуханным.

— Господин Нежданов дома?

Все переглянулись в изумлении.

— Дома господин Нежданов? — повторил баритон.

— Дома, — отвечал наконец Нежданов.

Дверь отворилась скромно и плавно, и, медленно снимая выложенную шляпу с благообразной, коротко остриженной головы, в комнату вошел мужчина лет под сорок, высокого роста, стройный и величавый. Одетый в прекраснейшее драповое пальто с превосходнейшим бобровым воротником, хотя апрель месяц уже близился к концу, он поразил всех — Нежданова, Паклина, даже Машурину... даже Остродумова! — изящной самоуверенностью осанки и ласковым спокойствием привета. Все невольно поднялись при его появлении.

III

Изящный мужчина подошел к Нежданову и, благосклонно осклабься, проговорил:

— Я уже имел удовольствие встретиться и даже беседовать с вами, г-н Нежданов, третьего дня, если изволите припомнить, — в театре. (Посетитель остановился, как бы выжидая; Нежданов слегка кивнул головой и покраснел.) Да!.. а сегодня я явился к вам вследствие объявления, помещенного вами в газетах... Я бы желал переговорить с вами, если только не стесню господ присутствующих (посетитель поклонил-

ся Машуриной и повел рукой, облеченной в сероватую шведскую перчатку, в направлении Паклина и Остродумова) и не помешаю им...

— Нет... отчего же... — отвечал не без некоторого труда Нежданов. — Эти господа позволят... Не угодно ли вам присесть?

Посетитель приятно перегнул стан и, любезно взявшись за спинку стула, приблизил его к себе, но не сел, — так как все в комнате стояли, — а только повел кругом своими светлыми, хотя и полузакрытыми глазами.

— Прощайте, Алексей Дмитрич, — проговорила вдруг Машурина, — я зайду после.

— И я, — прибавил Остродумов. — Я тоже... после.

Минова посетителя и как бы в пику ему, Машурина взяла руку Нежданова, сильно тряхнула ее и пошла вон, никому не поклонившись. Остродумов отправился вслед за нею, без нужды стуча сапогами и даже фыркнув раза два: «Вот, мол, тебе, бобровый воротник!» Посетитель проводил их обоих учтивым, слегка любопытным взором. Он устремил его потом на Паклина, как бы ожидая, что и тот последует примеру двух удалившихся гостей; но Паклин, на лице которого с самого появления незнакомца засветилась особенная сдержанная улыбка, отошел в сторону и приютился в уголку. Тогда посетитель опустил ся на стул. Нежданов сел тоже.

— Моя фамилия — Сипягин, может быть, слышали, — с горделивой скромностью начал посетитель.

Но прежде следует рассказать, каким образом Нежданов встретился с ним в театре.

По случаю приезда Садовского из Москвы давали пьесу Островского «Не в свои сани не садись». Роль Русакова была, как известно, одной из любимых ролей знаменитого актера. Перед обедом Нежданов зашел в кассу, где застал довольно много народу. Он собирался взять билет в партер; но в ту минуту как он подходил к отверстию кассы, стоявший за ним офицер закричал кассиру, протягивая через голову Нежданова три рублевых ассигнации: «Им (то есть Нежданову), вероятно, придется получать сдачу, а мне не надо; так вы дайте мне, пожалуйста, поскорей билет в первом ряду... мне к спеху!» — «Извините, г-н офицер, — промолвил резким голосом Нежданов, — я сам желаю взять билет в первом ряду», — и тут же бросил в окошко три рубля — весь свой наличный капитал. Кассир выдал ему билет — и вечером Нежданов очутился в аристократическом отделении Александринского театра.

Он был плохо одет, без перчаток, в нечищенных сапогах чувствовал себя смущенным и досадовал на себя за самое это чувство. Возле него, с правой стороны, сидел усеянный звездами генерал; с левой — тот самый изящный мужчина, тайный советник Сипягин, появление которого два дня спустя так взволновало Машурину и Остродумова. Генерал изредка взглядывал на Нежданова, как на нечто неприличное, неожиданное и даже оскорбительное; Сипягин, напротив, бросал

на него хотя косвенные, но не враждебные взоры. Все лица, окружавшие Нежданова, казались, во-первых, более особами, нежели лицами; во-вторых, они все очень хорошо знали друг друга и менялись короткими разговорами, словами или даже простыми восклицаниями и приветями — иные опять-таки через голову Нежданова; а он сидел неподвижно и неловко в своем широком, покойном кресле, точно пария какой. Горько, и стыдно, и скверно было у него на душе; мало наслаждался он комедией Островского и игрою Садовского. И вдруг — о, чудо! — во время одного антракта сосед его с левой стороны — не звездоносный генерал, а другой, без всякого знака отличия на груди, — заговорил с ним учтиво и мягко, с какой-то заискивавшей снисходительностью. Он заговорил о пьесе Островского, желая узнать от Нежданова как от «одного из представителей молодого поколения», какое было его мнение о ней? Изумленный, чуть не испуганный, Нежданов отвечал сперва отрывисто и односложно... даже сердце у него застучало; но потом ему стало досадно на себя: с чего это он волнуется? Не такой же ли он человек, как все? И он пустился излагать свое мнение, не стесняясь, без утайки, под конец даже так громко и с таким увлечением, что явно беспокоил соседа-звездоносца. Нежданов был горячим поклонником Островского; но при всем уважении к таланту, выказанному автором в комедии «Не в свои сани не садись», не мог одобрить в ней явное желание унижить цивилизацию в карикатурном лице Вихорева. Учтивый сосед слушал его с большим вниманием, с участием — и в следующий антракт заговорил с ним опять, но уже не о комедии Островского, а вообще о разных житейских, научных и даже политических предметах. Он, очевидно, интересовался своим молодым и красноречивым собеседником. Нежданов по-прежнему не только не стеснялся, но даже несколько наддавал, как говорится, пару. «Коли, мол, любопытствуешь — так на же вот!» В соседе-генерале он возбуждал уже не простое беспокойство, а негодование и подозрительность. По окончании пьесы Сипягин весьма благосклонно распростился с Неждановым — но не пожелал узнать его фамилию и сам не назвал себя. Дожидаясь кареты на лестнице, он столкнулся с хорошим своим приятелем, флигель-адъютантом князем Г. — Я смотрел на тебя из ложи, — сказал ему князь, посмеиваясь сквозь раздушенные усы, — знаешь ли ты, с кем ты это беседовал? — Нет, не знаю; а ты? — Неглупый небось малый, а? — Очень неглупый; кто он такой? — Тут князь наклонился ему на ухо и шепнул по-французски: — Мой брат. Да; он мой брат. Побочный сын моего отца... зовут его Неждановым. Я тебе когда-нибудь расскажу... Отец никак этого не ожидал — оттого он и Неждановым его прозвал. Однако устроил его судьбу... il lui a fait un sort... Мы выдаем ему пенсию. Малый с головой... получил, опять-таки по милости отца, хорошее воспитание. Только совсем с толку сбился, республиканец какой-то... Мы его не принимаем... Il est impossible! Однако прощай; мою карету кричат. — Князь удалился, а на следу-

¹ Он невозможен! (франц.).

ющий день Сипягин прочел в «Полицейских ведомостях» объявление, помещенное Неждановым, и поехал к нему...

— Моя фамилия — Сипягин, — говорил он Нежданову, сидя перед ним на соломенном стуле и озаряя его своим внушительным взглядом, — я узнал из газет, что вы желаете ехать на кондицию, и я пришел к вам с следующим предложением. Я женат; у меня один сын — девяти лет; мальчик, скажу прямо, очень даровитый. Большую часть лета и осени мы проводим в деревне, в С... ой губернии, в пяти верстах от губернского города. Так вот: не угодно ли вам будет ехать туда с нами на время вакансии, учить моего сына русскому языку и истории — тем предметам, о которых вы упоминаете в вашем объявлении? Смею думать, что вы останетесь довольны мною, моим семейством и самым местоположением усадьбы. Прекрасный сад, река, воздух хороший, поместительный дом... Согласны вы? В таком случае остается только узнать ваши условия, хотя я не полагаю, — прибавил Сипягин с легкой ужимкой, — чтобы на этот счет могли возникнуть у нас с вами какие-либо затруднения.

Во всё время, пока Сипягин говорил, Нежданов неотступно глядел на него, на его небольшую, несколько назад закинутую головку, на его узкий и низкий, но умный лоб, тонкий римский нос, приятные глаза, правильные губы, с которых так и лилась умильная речь, на его длинные, на английский манер висячие бакены — глядел и недоумевал. «Что это такое? — думал он. — Зачем этот человек словно заискивает во мне? Этот аристократ — и я?! Как мы сошлись? И что его привело ко мне?»

Он до того погрузился в свои думы, что не разинул рта даже тогда, когда Сипягин, окончив свою речь, умолк, ожидая ответа. Сипягин скользнул взглядом в угол, где, пожирая его глазами не хуже Нежданова, приютился Паклин. «Уж не присутствие ли этого третьего лица мешало Нежданову высказаться?» Сипягин возвел брови горé, как бы подчиняясь странности той обстановки, в которую попал, по собственной, впрочем, воле, — и, вслед за бровями возвысив голос, повторил свой вопрос.

Нежданов встрепнулся.

— Конечно, — заговорил он несколько уторможенным образом, — я... согласен... с охотой... хотя я должен признаться... что не могу не чувствовать некоторого удивления... так как у меня нет никакой рекомендации... да и самые мнения, которые я высказал третьего дня в театре, должны были скорей отклонить вас...

— В этом вы совершенно ошибаетесь, любезный Алексей... Алексей Дмитрич! так, кажется? — промолвил, осклабясь, Сипягин. — Я, смею сказать, известен как человек убеждений либеральных, прогрессивных; и напротив, ваши мнения, за устранением всего того, что в них свойственно молодости, склонной — не взыщите! — к некоторо-

му преувеличению, эти ваши мнения нисколько не противоречат моим — и даже нравятся мне своим юношеским жаром!

Сипягин говорил без малейшей запинки: как мед по маслу, катилась его круглая, плавная речь.

— Жена моя разделяет мой образ мыслей, — продолжал он, — ее воззрения, быть может, даже ближе подходят к вашим, чем к моим; понятное дело: она моложе! Когда на другой день после нашего свидания я прочел в газетах ваше имя, которое вы, замечу кстати, против общего обыкновения опубликовали вместе с вашим адресом (а узнал я ваше имя уже в театре), то... это... этот факт меня поразил. Я увидал в нем — в этом сопоставлении — некий... извините суеверность выражения... некий, так сказать, перст рока! Вы упомянули о рекомендации; но мне никакой рекомендации не нужно. Ваша наружность, ваша личность возбуждают мою симпатию. Сего мне довольно. Я привык верить своему глазу. Итак — я могу надеяться? Вы согласны?

— Согласен... конечно... — отвечал Нежданов, — и постараюсь оправдать ваше доверие. Только об одном позвольте мне теперь же вас предупредить: быть учителем вашего сына я готов, но не гувернером. Я на это не способен — да и не хочу закабалиться, не хочу лишиться моей свободы.

Сипягии легонько повел по воздуху рукою, как бы отгоняя муху.

— Будьте спокойны, мой любезнейший... Вы не из той муки, из которой пекутся гувернеры; да мне гувернера и не нужно. Я ищу учителя — и нашел его. Ну, а как же условия? Денежные условия? презренный металл?

Нежданов затруднялся, что сказать...

— Послушайте, — промолвил Сипягин, нагнувшись вперед всем корпусом и ласково тронув концами пальцев колени Нежданова, — между порядочными людьми подобные вопросы разрешаются двумя словами. Предлагаю вам сто рублей в месяц; путевые издержки туда и назад, конечно, на мой счет. Вы согласны?

Нежданов опять покраснел.

— Это гораздо больше, чем я намерен был запросить... потому что... я...

— Прекрасно, прекрасно... — перебил Сипягин. — Я смотрю на это дело как на решенное... а на вас — как на домочадца. — Он приподнялся со стула и вдруг весь повеселел и распустился, словно подарок получил. Во всех его движениях проявилась некоторая приятная фамильярность и даже шутливость. — Мы уезжаем на днях, — заговорил он развязным тоном, — я люблю встречать весну в деревне, хотя я, по роду своих занятий, прозаический человек и прикован к городу... А потому позвольте считать первый ваш месяц начиная с нынешнего же дня. Жена моя с сыном теперь уже в Москве. Она отправилась вперед. Мы их найдем в деревне... на лоне природы. Мы с вами поедем вместе... холостяками... Хе, хе! — Сипягин кокетливо и коротко посмеялся в нос. — А теперь...

Он достал из кармана пальто серебряный с чернью портфельчик и вынул оттуда карточку.

— Вот мой здешний адрес. Зайдите — хоть завтра. Так... часов в двенадцать. Мы еще потолкуем. Я разовью вам кое-какие свои мысли насчет воспитания... Ну — и день отъезда мы решим. — Сипягин взял руку Нежданова. — И знаете что? — прибавил он, понизив голос и искося поставив голову. — Если вы нуждаетесь в задатке... Пожалуйста, не церемоньтесь! Хоть месяц вперед!

Нежданов просто не знал, что отвечать, — и с тем же недоумением глядел на это светлое, приветное — и в то же время столь чуждое лицо, которое так близко на него надвинулось и так снисходительно улыбалось ему.

— Не нуждаетесь? а? — шепнул Сипягин.

— Я, если позволите, вам это завтра скажу, — произнес наконец Нежданов.

— Отлично! Итак — до свиданья! До завтра! — Сипягин выпустил руку Нежданова и хотел было удалиться...

— Позвольте вас спросить, — промолвил вдруг Нежданов, — вы вот сейчас сказали мне, что уже в театре узнали, как меня зовут. От кого вы это узнали?

— От кого? Да от одного вашего хорошего знакомого и, кажется, родственника, князя... князя Г.

— Флигель-адъютанта?

— Да; от него.

Нежданов покраснел — сильнее прежнего — и раскрыл рот... но ничего не сказал. Сипягин снова пожал ему руку, только молча на этот раз — и, поклонившись сперва ему, а потом Паклину, надел шляпу перед самой дверью и вышел вон, унося на лице своем самодовольную улыбку; в ней выражалось сознание глубокого впечатления, которое не мог не произвести его визит.

IV

Не успел Сипягин перешагнуть порог двери, как Паклин соскочил со стула и, бросившись к Нежданову, принялся его поздравлять.

— Вот какого ты осетра залучил! — твердил он, хихикая и топоча ногами. — Ведь это ты знаешь ли кто? Известный Сипягин, камергер, в некотором роде общественный столп, будущий министр!

— Мне он совершенно неизвестен, — урюмо промолвил Нежданов.

Паклин отчаянно взмахнул руками.

— В том-то и наша беда, Алексей Дмитрич, что мы никого не знаем! Хотим действовать, хотим целый мир кверху дном перевернуть, а живем в стороне от самого этого мира, водимся только с двумя-тремя приятелями, толчемся на месте, в узеньком кружке...

— Извини, — перебил Нежданов, — это неправда. Мы только с врагами нашими знаться не хотим, а с людьми нашего пошиба, с народом, мы вступаем в постоянные сношения.

— Стой, стой, стой, стой! — в свою очередь перебил Паклин. — Во-первых, что касается врагов, то позволь тебе припомнить стих Гёте:

Wer den Dichter will versteh'n,
Muss in Dichter's Lande geh'n...¹

а я говорю:

Wer die *Feinde* will versteh'n,
Muss in *Feindes* Lande geh'n...²

Чуждаться врагов своих, не знать их обычая и быта — нелепо! Не... ле... по!.. Да! да! Коли я хочу подстрелить волка в лесу — я должен знать все его лазы... Во-вторых, ты вот сейчас сказал: сблизиться с народом... Душа моя! В 1862 году поляки уходили «до лясу» — в лес; и мы уходим теперь в тот же лес, сиречь в народ, который для нас глух и темен не хуже любого леса!

— Так что ж, по-твоему, делать?

— Индийцы бросаются под колесницу Джаггернаута, — продолжал Паклин мрачно, — она их давит, и они умирают — в блаженстве. У нас есть тоже свой Джаггернаут... Давить-то он нас давит, но блаженства не доставляет.

— Так что ж, по-твоему, делать? — повторил чуть не с криком Нежданов. — Повести с «направлением» писать, что ли?

Паклин расставил руки и наклонил головку к левому плечу.

— Повести — во всяком случае — писать ты бы мог, так как в тебе есть литературная жилка... Ну, не сердись, не буду! Я знаю, ты не любишь, чтобы на это намекали; но я с тобою согласен: сочинять этикие штучки с «начинкой», да еще с новомодными оборотами: «Ах! я вас люблю! — *подскочила* она...», «Мне всё равно! — *почесался* он» — дело куда невеселое! Оттого-то я и повторяю: сблизьтесь со всеми сословиями, начиная с высшего! Не всё же полагаться на одних Остродумовых! Честные они, хорошие люди — зато глупы! глупы!! Ты посмотри на нашего приятеля. Самые подошвы от сапогов — и те не такие, какие бывают у умных людей! Ведь отчего он сейчас ушел отсюда? Он не хотел остаться в одной комнате, дышать одним воздухом с аристократом!

— Прошу тебя не отзываться так об Остродумове при мне, — с запальчивостью подхватил Нежданов. — сапоги он носит толстые, потому что они дешевле.

¹ Кто хочет понять поэта, должен побывать в его стране... (нем.).

² Кто хочет понять врага, должен побывать в его стране... (нем.).

— Я не в том смысле, — начал было Паклин...

— Если он не хочет остаться в одной комнате с аристократом, — продолжал, возвысив тон, Нежданов, — то я его хвалю за это; а главное: он собой пожертвовать сумеет — и, если нужно, на смерть пойдет, чего мы с тобой никогда не сделаем!

Паклин скорчил жалкую рожицу и указал на хроменькие, тоненькие свои ножки.

— Где же мне сражаться, друг мой, Алексей Дмитрич! Помилуй! Но в сторону всё это... Повторяю: я душевно рад твоему сближению с г-м Сипягиным и даже предвижу большую пользу от этого сближения — для нашего дела. Ты попадешь в высший круг! Увидишь этих львиц, этих женщин с бархатным телом на стальных пружинах, как сказано в «Письмах об Испании»; изучай их, брат, изучай! Если б ты был эпикурейцем, я бы даже боялся за тебя... право! Но ведь ты не с этой целью едешь на кондицию!

— Я еду на кондицию, — подхватил Нежданов, — чтобы зубов не положить на полку... «И чтоб от вас всех на время удалиться», — прибавил он про себя.

— Ну, конечно! конечно! Потому я и говорю тебе: изучай! Какой, однако, запах за собою этот барин оставил! — Паклин потянул воздух носом. — Вот оно, настоящее-то «амбрэ», о котором мечтала городничиха в «Ревизоре»!

— Он обо мне князя Г. расспрашивал, — глухо заговорил Нежданов, снова уткнувшись в окно, — ему, должно быть, теперь вся моя история известна.

— Не должно быть, а наврное! Что ж такое? Пари держу, что ему именно от этого и пришла в голову мысль взять тебя в учителя. Что там ни толкуй, а ведь ты сам аристократ — по крови. Ну и значит свой человек! Однако я у тебя засиделся; мне пора в мою контору, к эксплуататорам! До свидания, брат!

Паклин подошел было к двери, но остановился и вернулся.

— Послушай, Алеша, — сказал он вкрадчивым тоном, — ты мне вот сейчас отказал — у тебя теперь деньги будут, я знаю, но все-таки позволь мне пожертвовать хотя малость на общее дело! Ничем другим не могу, так хоть карманом! Смотри: я кладу на стол десятирублевую бумажку! Принимается?

Нежданов ничего не отвечал и не пошевелинулся.

— Молчание — знак согласия! Спасибо! — весело воскликнул Паклин и исчез.

Нежданов остался один... Он продолжал глядеть через стекло окна на сумрачный узкий двор, куда не западали лучи даже летнего солнца, и сумрачно было и его лицо.

Нежданов родился, как мы уже знаем, от князя Г., богача, генерал-адъютанта, и от гувернантки его дочерей, хорошенькой институтки, умершей в самый день родов. Первоначальное воспитание Нежда-

нов получил в пансионе одного швейцарца, дельного и строгого педагога, — а потом поступил в университет. Сам он желал сделаться юристом; но генерал, отец его, ненавидевший нигилистов, пустил его «по эстетике», как с горькой усмешкой выражался Нежданов, то есть по историко-филологическому факультету. Отец Нежданова виделся с ним всего три-четыре раза в год, но интересовался его судьбою и, умирая, завещал ему — «в память Настеньки» (его матери) — капитал в 6000 рублей серебром, проценты с которого, под именем «пенсии», выдавались ему его братьями, князьями Г. Паклин недаром обзывал его аристократом; всё в нем изобличало породу: маленькие уши, руки, ноги, несколько мелкие, но тонкие черты лица, нежная кожа, пушистые волосы, самый голос, слегка картавый, но приятный. Он был ужасно нервен, ужасно самолюбив, впечатлителен и даже капризен; фальшивое положение, в которое он был поставлен с самого детства, развило в нем обидчивость и раздражительность; но природенное великодушие не давало ему сделаться подозрительным и недоверчивым. Тем же самым фальшивым положением Нежданова объяснялись и противоречия, которые сталкивались в его существе. Опрятный до щепетильности, брезгливый до гадливости, он силился быть циничным и грубым на словах; идеалист по натуре, страстный и целомудренный, смелый и робкий в одно и то же время, он, как позорного порока, стыдился и этой робости своей и своего целомудрия и считал долгом смеяться над идеалами. Сердце он имел нежное и чуждался людей; легко озлоблялся — и никогда не помнил зла. Он негодовал на своего отца за то, что тот пустил его «по эстетике»; он явно, на виду у всех, занимался одними политическими и социальными вопросами, исповедовал самые крайние мнения (в нем они не были фразой!) — и втайне наслаждался художеством, поэзией, красотой во всех ее проявлениях... даже сам писал стихи. Он тщательно прятал тетрадку, в которую он заносил их, и из петербургских друзей только Паклин, и то по свойственному ему чутью, подозревал ее существование. Ничто так не обижало, не оскорбляло Нежданова, как малейший намек на его стихотворство, на эту его, как он полагал, непростительную слабость. По милости воспитателя швейцарца, он знал довольно много фактов и не боялся труда; она даже охотно работал — несколько, правда, лихорадочно и непоследовательно. Товарищи его любили... их привлекала его внутренняя правдивость, и доброта, и чистота; но не по счастливой звездой родился Нежданов; нелегко ему жилось. Он сам глубоко это чувствовал — и сознавал себя одиноким, несмотря на привязанность друзей.

Он продолжал стоять перед окном — и думал, грустной тяжко думал о предстоявшей ему поездке, об этом новом, неожиданном повороте его судьбы... Он не жалел о Петербурге; он не оставлял в нем ничего особенно ему дорогого; притом же он знал, что вернется к осени. А все-таки раздумье его брало: он ощущал невольную унылость.

«Какой я учитель! — приходило ему в голову, — какой педагог?!» Он готов был упрекнуть себя в том, что принял обязанность преподавателя. А между тем подобный упрек был бы несправедлив. Нежданов обладал достаточными сведениями — и, несмотря на его неровный нрав, дети шли к нему без принуждения и он сам легко привязывался к ним. Грусть, овладевшая Неждановым, была то чувство, присущее всякой перемене местопребывания, чувство, которое испытывают все меланхолики, все задумчивые люди; людям характера бойкого, сангвинического, оно незнакомо: они скорее готовы радоваться, когда нарушается повседневный ход жизни, когда меняется ее обычная обстановка. Нежданов до того углубился в свои думы, что понемногу, почти бессознательно, начал их передавать словами; бродившие в нем ощущения уже складывались в мерные созвучия...

— Фу ты, чёрт! — воскликнул он громко, — я, кажется, собираюсь стихи сочинять! — Он встрепенулся, отошел от окна; увидав лежащую на столе десятирублевую бумажку Паклина, сунул ее в карман и принялся расхаживать по комнате.

— Надо будет взять задаток, — размышлял он сам с собою, — благо этот барин предлагает: Сто рублей... да у братьев — у их сиятельств — сто рублей... Пятьдесят на долги, пятьдесят или семьдесят на дорогу... а остальные Остродумову. Да вот, что Паклин дал, — тоже ему... Да еще с Меркулова надо будет что-нибудь получить...

Пока он вел в голове эти расчеты — прежние созвучия опять зашевелились в нем. Он остановился, задумался... и, устремив глаза в сторону, замер на месте... Потом руки его, как бы ощупью, отыскивали и открыли ящик стола, достали из самой его глубины исписанную тетрадку...

Он опустил на стул, всё не меняя направления взгляда, взял перо и, мурлыча себе под нос, изредка взмахивая волосами, перечеркивая, марая, принялся выводить строку за строкою...

Дверь в переднюю отворилась наполовину — и показалась голова Машуриной. Нежданов не заметил ее и продолжал свою работу. Машурина долго, пристально посмотрела на него — и, направо и налево покачав головою, подалась назад... Но Нежданов вдруг выпрямился, оглянувшись и, промолвив с досадой:

— А! Вы! — швырнул тетрадку в ящик стола.

Тогда Машурина твердой поступью вошла в комнату.

— Остродумов прислал меня к вам, — проговорила она с расстановкой, — за тем, чтобы узнать, когда можно будет получить деньги. — Если вы сегодня достанете, так мы сегодня же вечером уедем.

— Сегодня нельзя, — возразил Нежданов и нахмурил брови, — приходите завтра.

— В каком часу?

— В два часа.

— Хорошо.

СОДЕРЖАНИЕ

<i>Предисловие к романам</i>	5
РУДИН	13
ДВОРЯНСКОЕ ГНЕЗДО	109
НАКАНУНЕ	231
ОТЦЫ И ДЕТИ	345
ДЫМ	493
НОВЬ	623